

СИБИРИАДА

ВИЛЬ
ЛИПАТОВ

И ЭТО
ВСЁ О НЁМ

Сибиряда

Виль Липатов
И это все о нем

«ВЕЧЕ»

1974

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

Липатов В. В.

И это все о нём / В. В. Липатов — «ВЕЧЕ», 1974 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-3608-6

В одном из сибирских поселков лесозаготовителей погибает молодой парень Евгений Столетов. Следователь Прохоров не верит в случайные обстоятельства трагедии и начинает долгое и трудное расследование... Повесть «И это всё о нём» известного сибирского писателя Виля Липатова (1927–1979) по праву считается лучшим произведением автора. Повесть была успешно экранизирована в 1978 году.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-3608-6

© Липатов В. В., 1974
© ВЕЧЕ, 1974

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	66
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Виль Липатов

И это всё о нём

© Липатов В. В., наследники, 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

* * *

Глава первая

1

Пароход длинно загудел, за окнами каюты застучали каблуки, радостно – приехала домой! – ойкнула женщина, и Прохоров понял, что подходят к Сосновке. Он еще удобнее прежнего откинулся на мягком сиденье и осторожно зевнул. «Не буду толкаться!» – решительно подумал Прохоров и стал глядеть в окно на подплывающую к пароходу деревню.

Он увидел то, что ожидал увидеть, – несколько десятков стандартных домов из брусчатки, выпирающий из деревянного ансамбля здоровенный, но тоже бревенчатый клуб, гаражи, механические мастерские, десятка три старых домов специфической сибирской архитектуры – с пристройками амбарного типа; магазин на высоком фундаменте, больницу, аптеку; за околицей высились мачты метеорологической станции. И все это стояло на высоком берегу, сверху было накрыто плоским, серым небом, казалось дымчатым, размазанным. В воздухе пахло дождем, и было трудно дышать. «Большая деревня!» – скучно подумал Прохоров, хотя Сосновка официально именовалась поселком. Он не любил слово «поселок».

Когда все пассажиры сошли на берег и на судне сделалось по-будничному тихо, Прохоров, подхватив чемодан, спустился из первого класса в четвертый, прошел по нижней палубе, где отчаянно пахло селедкой, к широкому трапу и, прежде чем шагнуть на берег, посмотрел внимательно на встречающих, которые оказались такими же обыкновенными, будничными, как серое небо. На пароход глазели несколько ленивых мужчин, куча рассудительных по-деревенски мальчишек и две-три женщины с грудными детьми, неподвижные, как изваяния, и было, как всегда, непонятно, зачем они пришли, что их интересует, почему женщины стоят в тупой ошоловелости.

Прохорова никто не встречал. Это было естественным для человека его профессии, но неожиданным для такого поселка, то бишь деревни, как Сосновка, где одиноких пассажиров-мужчин городского вида непременно встречали то руководители лесопункта, то поселкового Совета, то школы, больницы или клуба. Прохоров же стоял на берегу один, держал в руках чемодан, никуда не торопился, а выражение лица у него было такое, словно не существовало ни парохода, ни людей, ни новой для него деревни.

Первым обратил внимание на необычность Прохорова пожилой мужчина в брезентовой куртке и капитанской фуражке; судя по одежде, он был начальником сосновской пристани, имел возле губ две руководящие складки, строгие глаза и такую походку, какую дает человеку своя пристань, своя деревня, свой берег. Подойдя к Прохорову, строгий начальник спросил:

– Вы, гражданин, откуда будете?

Прохоров улыбнулся:

– Из области я буду, папаша.

После этого Прохоров подумал, что обманывает самого себя, когда считает свое стояние на берегу бесцельным, – в этом неподвижном стоянии была необходимость, неизбежность и, если так можно выразиться, фатальность. Бог знает почему, Прохорову надо было впитать в теперешнее собственное существование терпеливую созерцательность женщин с младенцами, проникнуться бескрайностью окружающего, насытиться замедленностью, тишиной, серостью низкого неба и добродушной ленью глазающих на него мужчин.

– А чего вы, гражданин, к слову сказать, никуда не идете? – спросил строгий пристанской мужчина. – Чего вы, например, стоите на месте?

Прохоров радостно прислушивался... Слова во фразе пристанского начальства сливались, цеплялись одно за другое, целое предложение казалось одним длинным словом, и все это было так стародавнее, так по-родному знакомо, что слышался покой длинных зимних вечеров, полумрак теплой избы, сонные тени или другое – плеск речной волны, распластанные в небе крылья коршуна, приглушенность таежных мхов, пронзенных алыми звездами брусники... Серое небо, остекленевшая серая река, молчание женщин, похожих на мадонн...

– Вы, гражданин, отвечайте! У меня не бо-знат сколь времени, чтоб с каждым разговаривать...

Пристанский начальник ошибался: у него в запасе была вечность. Чудак! Уселся бы вместе с Прохоровым на бревнышко, закрутил бы вершковую самокрутку, назвав собеседника по имени-отчеству, завел бы разговор о жене, о детях, о соседях, о пароходном пиве, о телеграфном столбе, который протяжно поет зимними вечерами. Куда торопиться, когда мимо них бесстрастно струилась река, над зубцами тайги, как желток сквозь пронзенное лучом яйцо, пробивалось через серые тучи солнце, и от этого кожа на лицах женщин отливала пергаментной вечностью?

– Вы разговаривайте, гражданин, вы беседуйте!

– Вот это дело я люблю! – неторопливо сказал Прохоров и ласково посмотрел на мужчину. – У меня, Иван Федорович, работа такая, чтобы разговаривать... Вот вы удивляетесь, что я вас назвал по имени-отчеству, а откуда я вас знаю? Да из разговоров... – Прохоров весело подмигнул. – Я ежели всего знать не буду, то мне и кусать будет нечего!..

Когда пристанское начальство от неожиданности и удивления полезло пальцами под фуражку чесать затылок, Прохоров коротко рассмеялся и пошел, не оглядываясь, от пристани. Он размеренно покачивал чемоданом, поддергивал сползающие брюки, очень довольный собой, старался определить, где в Сосновке помещается служебное помещение участкового инспектора милиции Пилипенко, которому было строго-настрого приказано не встречать Прохорова на пристани, чтобы не вызывать в деревне шума.

Судя по протоколу, написанному рукой Пилипенко, инспектор должен был размещаться в новом брусчатом доме, на помещении должна была непременно висеть яркая вывеска, на окнах обязаны были стоять горшки с геранью, чего, конечно, не полагалось делать в официальном помещении, но инспектор Пилипенко сочетал в почерке ефрейторский шик с южной сентиментальностью, любовь к помпезности перемежал с девичьей пристрастностью к оборочкам и кружевцам. Пилипенко писал с двойным «р» слово «урегулировать», обычные предложения часто заканчивал восклицательным знаком, но слово «рассказал» писал через «з» и «с», а на двух страницах не поставил ни единой точки.

Сосновка в этот полуденный час казалась вымершей. Навстречу Прохорову шел только кривобокий старик, пробежали – одна за одной – две собаки неизвестной породы, неподвижно сидела на скамейке задумчивая старуха. Работающая деревня была пуста, как стадион после матча, и Прохоров почувствовал острую радость, словно после путешествия по желтой безводной и палящей пустыне вернулся наконец в маленький домик с прохладным и влажным липовым садом. Захотелось сесть рядом с задумчивой старухой, закрыв глаза, прислушиваться к тому, как шелестит в ушах вязкая тишина; пришли бы в голову простые ясные мысли, например, о том, как растет капуста или как поворачивается лицом к солнцу подсолнух, или думалось бы о том, как в подполе прорастают белыми ростками картошка и стынет на льду запотевшая кринка с молоком... «Я буду купаться каждое утро, вот что, – подумал Прохоров и сам себе улыбнулся. – Буду вставать на заре, встречать солнце и купаться... Куплю большое полотенце...»

– Это что такое? – вслух спросил он, когда по тихой деревне пронеслось пронзительное лошадиное ржание. – Это откуда же?

Повертев головой, Прохоров понял, что лошадиное ржание доносится из старой, замше-лой конюшни, нелепо примостившейся возле аптеки с высоким застекленным крыльцом. От конюшни струился запах навоза и лошадиного пота, возле дверей бродили белые куры, стоял древний козел с выщипанной бородой.

– Здравствуйте-бывали, бабуся! – вежливо сказал Прохоров задумчивой старухе. – Это кто же так иржет, так старается?

Задумчивая старуха подняла голову, без удивления посмотрев на Прохорова, неторопливо ответила:

– Бывайте здоровехоньки! А кто иржет? Так это жеребец... Прозывается Рогдаем, годок ему будет седьмой, масти он будет вороной...

Прохоров поставил на землю чемодан.

– А вот еще такой вопрос, – тоже задумчиво спросил он. – Как там, в орсовском магазине? Махровые полотенца есть?

– Их давно не бывает! – поразмыслив, ответила старуха. – Посудны – это ты еще сыщешь, те, которы в фафельку, тоже укупишь, а махровы – нет! Их, поди, годов уж десять как не стало...

– Ну, спасибо, бабуся!

И Прохоров пошел дальше, продолжая раздумывать над тем, где же мог все-таки обосноваться участковый инспектор Пилипенко. Нужно было явно сбросить со счетов те дома, из труб которых валил сизый дымок, пренебречь строениями старинной лиственничной вязки, считать ненужными дома с палисадниками, так как окна пилипенковского кабинета непременно должны были глядеть на улицу... Если человек пишет в протоколе «согласно наблюдению за передвижением», если сообщает, что, «находясь в стадии среднего опьянения, гр-нин Варенцов шествовал вдоль улицы», то все совершенно понятно...

Теперь он искал в Сосновке дом под железной красной крышей, ибо вспомнил, что в одном из протоколов Пилипенко, описывая происшествие, черт знает с каких пирожков упомянул о красной крыше дома свидетеля Никиты Суворова. Именно от этой детали протянулась ниточка к герани, к сияющим офицерским сапогам, к влажным глазам южанина, к той солдатской старательности, которой должен обладать человек, обращающий внимание на цвет...

Дом с красной крышей стоял на небольшой возвышенности, возле него на самом деле не было палисадника, окна действительно глядели прямо на улицу, на окне – вот вам, пожалуйста! – стоял цветок – не герань, кажется, – в большом горшке; цвет железа был скорее всего не красным, а коричневым, да и вывеска была не такой яркой, как ожидалось.

– «Согласно наблюдению за передвижением», – насмешливо повторил Прохоров. – И восклицательный знак, понимаете ли, в конце...

У крыльца Прохоров остановился, повернувшись спиной к дому, оценивающим взглядом посмотрел на деревню...

Ему понравилось то, что он увидел. С небольшой возвышенности деревня казалась чистой, уютной; широкая Обь так славно обнимала ее крутым изгибом, что Сосновка казалась вечно существующей на дымчатой серой излучине, а крохотность занятого человеком пространства была естественной перед рекой километровой ширины, низким, серым небом, тайгой. Не было ничего лишнего, тревожащего; улавливалась гармония в сочетании серого с зеленым, тишины с небом, реки с кедрачами, крутого обского яра с пропадающим в дымке левобережьем... «Плохо, что я ленив!» – подумал Прохоров. Ему действительно было лень поворачиваться лицом к служебному помещению инспектора Пилипенко, не хотелось вообще двигаться, но когда за спиной раздались удары железных подковок сапог о твердое дерево, Прохоров неожиданно лихо подмигнул речной пространственности.

– Здравствуйте, товарищ Пилипенко! – не оборачиваясь, чтобы отдалить признание в собственной ошибке, сказал Прохоров, и уж тогда резко повернулся к человеку, портрет кото-

рого давно создал в воображении: томная соболиная бровь, грушевидный нос, влажные глаза, солдатская складка меж бровей, зеркальные сапоги, скошенная набок фуражка...

– Я Прохоров! – сухо сообщил он и мгновенно сосчитал процент ошибки: «Восемьдесят пять на пятнадцать!»

Фуражка живого Пилипенко сидела на голове ровно, сапоги были тускловатыми, нос был, наоборот, тонким, с горбинкой... Все же остальное: «Ах, Прохоров, ах, умница!»

– Здравия желаю, товарищ...

– ...капитан, – сказал Прохоров. – Капитан!

2

Стараясь на первых порах не вникать в особенности пилипенковского кабинета, ухватывая только крупные подробности, Прохоров своей обычной – ленивой – походкой вошел в комнату, сморщившись от того, что скрипели половицы, сел на табуретку, на которой, видимо, минуту назад сидел Пилипенко – сиденье было еще теплым, – и с интересом посмотрел на туго обтянутый зад участкового инспектора: «Хорошо кормлен!»

– А вы присаживайтесь, присаживайтесь, товарищ младший лейтенант!

Участковый инспектор Пилипенко был открыто недоволен прямым, бесцеремонным взглядом Прохорова, так как, видимо, давно миновали те времена, когда участкового инспектора смели разглядывать бесцеремонно и пронзительно; он, участковый инспектор, видимо, уже сам привык смотреть прямо и бесцеремонно, и Прохоров не спешил отвести глаза – если человек пишет в протоколе «согласно наблюдению за передвижением», если человек сидит у окна на табуретке, с которой просматривается вся длинная деревня...

– Молодца, Пилипенко! – сказал Прохоров. – После того как вы сели, могу сообщить, что трудно разговаривать с человеком, если он стоит, а рост у него сто восемьдесят два сантиметра... Надеюсь, вы заметили, Пилипенко, что я на голову ниже вас? – Прохоров иронически засмеялся. – Когда-то я себя утешал тем, что все великие люди низкорослы, но теперь мной командует двухметровый верзила, и, знаете, Пилипенко, я уже не думаю о собственной потенциальной гениальности...

Прохоров вздохнул, подумал: «Эко меня понесло!» – а неугаданный нос Пилипенко – тонкий, с горбинкой – презрительно подрагивал ноздрями, младший лейтенант, наверно, полагал, что Прохоров дорогой «хватил лишку». Все это так, но все-таки...

...Восемьдесят пять на пятнадцать – вот каков был процент ошибки Прохорова в портрете Пилипенко, так как капитан ошибся в предсказании не характера, а внешности участкового инспектора.

– Хорошо быть молодым и длинноногим! – восхищенно сказал Прохоров. – Можно, конечно, посчитать, что капитан из областного управления на пароходе надрался, и дисциплинированно молчать, думая: «Проспится – человеком станет!» Позвольте заметить: я трезв, как папа римский. Что же касается сна, то вот здесь, – Прохоров показал пальцем на пустое место возле второго окна, – вот здесь вы поставите рас-кла-ду-ушку... На крыльце... на крыльце вы повесите медный рукомойник... – Он оживился. – Вы сможете найти, Пилипенко, настоящий медный рукомойник? Круглый такой, знаете ли, с затейливой крышечкой... Его надо надраить до солнечного сияния и наполнить колодезной водой.

Прохоров мечтательно смежил ресницы.

– Под рукомойник надо поставить ушат, от которого будет пахнуть сырым деревом и лягушками... Вы достанете медный рукомойник, товарищ Пилипенко?

– Постараюсь, товарищ капитан.

«Постараюсь!» – мысленно передразнил его Прохоров. Знал бы ты, Пилипенко, что самое опасное в тебе – вот эта самая старательность!.. Ты так старался описать место трагического

происшествия, так подробно живописал положение трупa, так самозабвенно, высунув язык, вырисовывал злополучный белый, похожий на череп камень, что ослеп от собственной старательности. Ах ты, двухметровая, гладко причесанная исполнительность! Как же тебе не пришло в голову, что есть разница между человеком, которого *столкнули с подножки вагона*, и человеком, который *сам спрыгнул с подножки вагона*?..

– Скажите, товарищ Пилипенко, как называется этот цветок? – сердито спросил Прохоров.

– Невеста.

«Ну конечно, – возликовал Прохоров, – цветок в кабинете Пилипенко должен называться невестой! Герань – это слишком просто, незатейливо; в герани нет того оттенка пилипенковской души, как сентиментальность. Этот старательный человек непременно говорит женщине: «Горлинка ты моя незабвенная!», неотрывно глядит ей в глаза и ласково перебирает пальцами какую-нибудь оборку на ее кофточке. И женщины любят таких, как Пилипенко».

– Я вам приказываю, младший лейтенант, не обращать внимания на болтливость старшего по званию! – строго сказал Прохоров. – Слушайте, почему вы скрипите табуреткой?

– Раскачалась.

– Сама не раскачается, если вы перестанете таращить на меня глаза! – обозлился Прохоров. – Я же не таращусь на человека, который не знает разницы меж тем, кого столкнули с подножки вагона и кто сам спрыгнул с подножки! Извольте не таращиться!

– Слушаюсь, товарищ капитан!

– Я хочу, Пилипенко, чтобы вы спокойно и доверительно, словно пишете школьному товарищу, рассказали о смерти Евгения Столетова, – задумчиво сказал капитан Прохоров. – Забудьте о том, что вы милиционер, – это раз! Не учитывайте того обстоятельства, что я уже хорошо знаю дело, – это два! И, ради бога, не старайтесь... Только не старайтесь!

Прохоров с таким же успехом мог попросить чеснок не пахнуть, как младшего лейтенанта Пилипенко не стараться: едва инспектор открыл рот, как все надежды капитана рухнули карточным домиком. Пилипенко был милиционером и только милиционером; он и зачат был как милиционер и сосал из груди матери милицейское молоко. «Лишних два рабочих дня – вот чем это пахнет!» – грустно подумал Прохоров.

– Рассказывайте, Пилипенко!

– Двадцать второго числа мая месяца, – прокашлявшись, сказал Пилипенко, – в ноль часов двадцать три минуты машинист паровоза Фазин сообщил в диспетчерскую, что на шестом километре от станции Сосновка – Нижний склад, в четырехстах метрах от дороги на хутор, им был замечен лежащий на земле неизвестный...

Ей-богу, Прохоров еще не встречал человека, который так полно соответствовал бы собственному протоколу – буква совпадала с буквой, интонация с интонацией, всегдашняя приблизительность и полуправда бумаги жили в голосе Пилипенко той же полуправдой и приблизительностью... Прохоров отвернулся от инспектора Пилипенко, разглядывая свои блестящие туфли из настоящей кожи, пропустил огромный кусок инспекторской старательности. Думал он в это время о том, что сапоги Пилипенко с утра были тоже очень хорошо вычищены, но вот к полудню запылились.

– В час тринадцать минут я прибыл на место происшествия, – рассказывал Пилипенко. – В неизвестном, лежащем в трех с половиной метрах от пня, был опознан тракторист Сосновского лесопункта Столетов Евгений... Осмотр показал, что потерпевший при падении ударился затылком об острый край камня, в результате чего наступила смерть...

«Уши надо было оборвать человеку, который в фискальных целях лишил служебное помещение палисадника, вырубив под окнами деревья, открыл доступ в комнату всему постороннему и лишнему. Почему, спрашивается, надо серой реке слушать о том, как лежал возле белого камня Евгений Столетов, какое дело трем прибрежным осокам до плакатной улыбки

бравого Пилипенко? Как, черт возьми, было не хмуриться небу, когда несли вот такую ахи-нею...»

– ...расположение трупa и местонахождение места происшествия в четырехстах метрах от дороги на хутор позволили вы-ра-бо-та-ть версию, что тракторист Столетов Евгений пытался на ходу спрыгнуть с платформы...

И это говорил человек, который старательно – рулеткой! – измерил расстояние от трупa до рельсов, приложил к делу сломавшийся каблук, снял по-дурацки точный чертеж с местности и сфотографировал все, что можно, кроме следов на обочине узкоколейки, а к приезду следователя из райотдела милиции прошел сильный дождь, почва откоса оплыла и сровнялась...

– Машинист паровоза гражданин Фазин из-за сильного потемнения, образовавшегося в результате наплыва густых туч на луну, не мог видеть спрыгивающего с платформы Столетова... Исходя из этого, наличие царапин и разорванная рубаха Столетова позволили вы-ра-бо-та-ть вторую версию о том, что Столетов Евгений не *сам спрыгнул* с платформы... Дальше...

Дальше пилипенковская казуистика не распространялась – приехал следователь райотдела милиции, пришел на размокший от дождя откос, назвав участкового инспектора ослом, передал труп судебно-медицинской экспертизе, а ровно через месяц по телефону сообщил Прохорову, что дело надо закрывать или... «Или не закрывать», – подсказал ему Прохоров и положил телефонную трубку, добавив к первому ослу второго – следователя Сорокина...

– У меня все, товарищ капитан, – сказал Пилипенко таким тоном, словно выложил перед Прохоровым сокровищницу. – При необходимости могу доложить о связях Столетова Евгения... Следователь товарищ Сорокин...

– Не надо о Сорокине! – задумчиво перебил его Прохоров. – Лучше расскажите тысяча вторую сказку Шехерезады. Я хочу, чтобы вы закончили словами: «И это все о нем!»

Капитан ядовито ухмыльнулся.

– Вы, наверное, заметили, Пилипенко, что безымянные авторы «Тысячи и одной ночи» историю каждого героя заканчивают гениальными словами: «И это все о нем!»

Честно признаться, выдержка Пилипенко начинала нравиться Прохорову. На лице Пилипенко не было и тени угодливости, и, если бы, черт побери, не эта старательность, не это ощущение своего вечного милиционерства, не этот рот с плакатным изгибом губ...

Прохоров взглянул на часы. Его пребывание в Сосновке длилось всего час, но он уже чувствовал, как затихала в нем городская и пароходная жизнь, ощущал новый, замедленный ритм существования. Прохоров посмотрел на цветок – все в нем представлялось законченным, необходимым; перевел глаза на реку за окном – она жила в одном ритме с Прохоровым; поднес к глазам собственную руку – ему понравились ровно обстриженные ногти. «Раскачаюсь как-нибудь! – с надеждой подумал он. – Чего мне не хватает? Пустяка мне не хватает...»

Прохоров по-хорошему улыбнулся Пилипенко.

– Дело нельзя начинать с фразы: «Двадцать второго числа мая месяца на полотне железной дороги...» Хорошую кашу можно сварить только тогда, когда начнешь так: «Жил-был в Сосновке двадцатилетний парень Женька Столетов. Глаза у него были голубые, нос курносый, любил он пельмени с уксусом...» И как только вы дойдете до слов: «И это все о нем!» – я скажу, что произошло поздним вечером двадцать второго мая...

Прохоров встал. Он был невелик – пиджак сорок восьмого размера (рост третий), туфли – сорок первого; костюм на капитане сидел несколько мешковато, галстук был того неопределенного цвета, который любят холостяки и бухгалтеры, костюм был не дорогой, но и не дешевый, зато на ногах у капитана сверкали очень дорогие, пижонские туфли французского происхождения, а из туфель выглядывали узорчатые носки.

– Наш девиз: «Все о нем!» – лениво сказал Прохоров. – Обедал я на пароходе, съел прекрасную осетровую уху, отбивную – похуже и выпил три стакана холодного компота... Теперь я хочу видеть Андрея Васильевича Лузгина, пятьдесят первого года рождения, беспартийного,

ранее не судимого, по национальности русского, по социальной принадлежности рабочего... Так вы достанете медный рукомоиник, Пилипенко?

– Постараюсь!..

3

Примерно через полтора часа Прохоров завершил тот путь, который проделывал трагически погибший Евгений Столетов: капитан минут пятнадцать дожидался поезда на станции Сосновка – Нижний склад, сорок минут ехал в тряском и скрипучем, как старый диван, вагоне узкоколейки и наконец вышел на конечной остановке, которую станцией назвать было нельзя. Здесь рельсы нерешительно вползали в лес и обрывались.

Верный себе, Прохоров вышел из вагона последним, спрыгнув на землю, сладко потянулся... Пахло смолой, брусникой, влажной сыростью мхов, над вершинами сосен продолжало вырывать солнце, затянутое дымчатой пеленой туч; уступами стоял звонкий корабельный лес, через анфиладу колонн-сосен тайга просматривалась во все стороны, пространство от этого казалось бесконечным, и не было поэтому того ощущения давленности, которое возникает в буреломистой тайге.

Игрушечные рельсы узкоколейной дороги делили пополам круглую, свободную от тайги площадку – эстакаду. На ней, задрав в небо хоботы, стояли два погрузочных крана, несколько тракторов отдыхало поодаль, беспорядочно, как рассыпанные спички, лежали хлысты – деревья с обрубленными сучьями. Горели костры, с забубенной сложностью абстрактного рисунка всюду громоздились сучья, пни, обломки деревьев; торчали комли сосен со срезами, похожими на обнажившуюся кость. Во всем этом чувствовалось пиршество пилы и топора.

– Кр-кр-кх! – кричала в тишине ворона. – Кр-х-х!

Прохоров наблюдал за человеком в темной клетчатой ковбойке.

Неизвестный стоял в центре эстакады неподвижно; несуетностью, основательностью он напоминал камень, торчащий в могучем стрежне быстрой реки, о который разбиваются, меняя направление, мощные струи. Человек произносил неслышные Прохорову слова, делал властный жест рукой или просто кивал, но этого было достаточно, чтобы поток рабочих спецовок вечерней смены менял направление, останавливался, устремлялся вперед. В линии плеч, в широко расставленных ногах человека, в напряженной шее – во всем читалась неторопливая начальственность, добродушная уверенность, целесообразное одиночество, но главное заключалось в том, что человек в клетчатой ковбойке был противоположен хаосу и разрушению, был тем фундаментом, на котором держалось живущее. Человек в клетчатой ковбойке созидал – вот какой у него был вид, и Прохоров лениво пробормотал: «Гасилов, Петр Петрович, девятнадцатого года рождения, беспартийный, не судимый, уроженец села Петряева Томской губернии...»

О Гасилова разбивались последние людские волны – он проводил добродушной гримасой суетного мужичонку в ярко-голубой майке, назидательно отстранил от себя парня с татуированными руками, молча осадил натиск дивчины с ногами-бутылками, и внимательно разглядывающий его капитан Прохоров мысленно послал к черту следователя Сорокина – с его протоколом, тщательным почерком и дурацкой привычкой почти каждое предложение начинать с абзаца. «Объявить Сорокину служебное несоответствие, содрать погоны, посадить за бухгалтерский стол...» – сладко думал Прохоров, стараясь сообразить, как человек-утес, человек-созидатель и человек-фундамент мог сказать для протокола следующее: «*Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!*»

Прохоров неторопливо пошел к человеку-созидателю в ту самую секунду, когда заметил, что Петр Петрович Гасилов краешком глаза обнаружил задумчивое молчание незнакомого человека. Заранее предупрежденный по телефону, он, конечно, знал, кто стоит на эстакаде,

но Прохоров уже понял, что ему предстоит испытать веселые перипетии начальственной бдительности, отбивать покровительственную атаку человека-утеса на несущественную разницу в их возрасте, преодолеть социальное расстояние между человеком, создающим материальные ценности, и человеком, только охраняющим эти ценности... Поэтому Прохоров заранее нащупал в нагрудном кармане твердый переплет удостоверения, приглушенно улыбнувшись, понес навстречу Гасилову тусклый блеск равнодушных глаз.

– Я Прохоров! – негромко сказал он. – Вы Гасилов.

– Здравствуйте, товарищ Прохоров!

Ошибка была так велика и непоправима, что капитан уголовного розыска приглушенно засмеялся... У человека, казавшегося каменным, среди гладкого, блестящего молодой кожей лица жили широко расставленные, умные, мягкие, интеллигентные глаза; линии рта были решительны, контурно очерчены, но и в них чувствовалась доброта, а на крутом лбу лежало несколько страдальческих морщин, и вообще широкое, скуластое, коричневое лицо мастера Гасилова походило на морду старого и мудрого пса из породы боксеров.

Впечатление от Гасилова оказалось настолько сильнее профессиональной бесстрастности капитана Прохорова, что выработанное годами умение не поддаваться первому впечатлению отказало, как стершиеся тормоза. Три секунды прошло, не более, а Прохоров уже не думал о том, что из каменных губ мастера прольется снисходительное: «Сколько же вам лет, товарищ Прохоров?» – а потом последует и тот вопрос, после которого человек-утес не только сядет на шею капитана Прохорова, но и свесит ножки: «Ах, вы не женаты, товарищ... кажется, Прохоров? Как же так? Видимо, бросили семью? Ну а парторганизация что? Небось выговорочек носите?»

Нет, ничего подобного не угрожало капитану Прохорову, никто не собирался покушаться на его профессиональную честь, и дело кончилось тем, что Прохоров почувствовал, как хорошо сидеть теплым вечером на какой-нибудь старенькой скамейке с мастером Гасиловым. Петр Петрович будет дружелюбно и легко молчать, его неторопливый разговор будет занимателен, по-житейски мудр, а боксерье лицо сделается по-хорошему грустным. И весь он, Гасилов, был вообще такой, что казались невероятными обремененные кавычками и восклицательным знаком слова: «*Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!*»

– Если вам нужен Андрей Лузгин, – мягко сказал Гасилов, – то спешите: он может уехать в поселок...

– Да, конечно... Задержите, пожалуйста, Лузгина.

После ефрейторской старательности инспектора Пилипенко, после сорокинской уверенности в том, что люди реже умирают сами, чем при содействии ближних, Прохорову было по-человечески приятно видеть доброе лицо мастера, по-собачьи мудрое. Еще приятнее было, что и мастер Гасилов оценил Прохорова, – ему, несомненно, понравился мешковатый костюм капитана, было оценено пижонство в обуви, понят нелепый бухгалтерский галстук в горошек и со старомодной булавкой. В голове Гасилова шла напряженная работа, да и Прохорову было о чем подумать: «*Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!*» Что из этого принадлежит Сорокину, что Петру Петровичу Гасилову?

– Позовите Андрея Лузгина!

И пока лучший друг погибшего тракториста Андрей Лузгин шел через сумятицу эстакады, пока робко приглядывался к незнакомому человеку, Прохоров размышлял о том, что, кажется, столкнулся с выдающимся случаем в своей милицейской практике. Ни его специально культивируемый в утилитарных целях цинизм, ни профессиональная проницательность, ни общеизвестная интуиция пока не могли обнаружить противоречий в облике и поведении мастера Гасилова. Ни признака наигрыша, ни зазубринки расчета, ни тени двойственности. Цельность, глубина, непосредственность.

– А вот и Андрей Лузгин! – сказал Гасилов. – Знакомьтесь. Капитан милиции Александр Матвеевич Прохоров, тракторист Андрей Лузгин... Меня прошу извинить: дела!

– Здравствуйте, Андрей!

4

Убежденный в том, что лучшие друзья рекрутируются по принципу «лед и пламень», капитан разглядывал Андрея Лузгина с таким напряжением, с каким человек читает зеркальное изображение печатного текста. Знакомый с Евгением Столетовым по фотографиям, капитан не давал себе ни секунды передышки, так как знал по опыту, что первое впечатление – самое сильное.

Евгений Столетов на групповой школьной фотографии был высок и худ, на девичьей шее незащищенно торчал острый кадык, в удлинённом лице молодая наглость соседствовала с обидчивыми кукольными губами, подбородок торчал, как кукиш, а глаза у парня были такие неговорчивые, словно его насильно втиснули в обалделый ряд товарищей, обрадованных возможностью зафиксировать навечно жадное ожидание будущего. Евгений Столетов выпирал из фотографии, торчал особняком, как одинокое дерево в поле; в руке, положенной на дружеское плечо Андрея Лузгина, чудилось желание оттолкнуться, закричать, уйти.

Андрей Лузгин в жизни, а не на фотографии походил на спелое, пронизанное солнцем розовобокое яблоко. Круглое лицо парня было румяно, майка туго обтягивала налитые здоровьем плечи, остриженная под машинку голова казалась безупречно круглой. Он позволял Прохорову и солнцу проливать на него тепло и любопытство, так как в тот момент, когда Андрей Лузгин подошел к капитану, над тайгой и кошмаром эстакады наконец-то высунуло лучи дневное светило.

Прохоров и оглянуться не успел, как, подпрыгнув на собственных тенях, вытянулись в просветлевшее небо сосны, а в хаосе эстакады неожиданно обнаружился покой целесообразности. Во-первых, из страшноватой сумятицы веток, комлей и тупых обрубков эстакада преобразовалась в банальнейший реализм таежного бурелома, во-вторых, на хоботках кранов солнце зажгло отблески красных огоньков, в-третьих, среди выросших сосен пространство эстакады оказалось свободным и легким, как вздох. Иная жизнь началась на солнечной эстакаде, сделавшейся веселой, как яблочные щеки Андрея Лузгина.

– Вот что, Андрей Лузгин, – деловито сказал Прохоров, – зовите меня Александром Матвеевичем...

Бесцеремонно повернув Андрея за плечи в сторону тайги, Прохоров обнаружил, что пышные плечи парня обросли продолговатыми, твердыми мускулами, кожа была грубой, как наждак, и вообще паренек-то, оказывается, был крепкий, сбитый, упругий, как шина тяжелого трактора. «Ишь ты, какой бодрячок!» – подумал Прохоров, но руку на плече Андрея оставил.

– Мы получили ваше письмо, Андрей, – сказал Прохоров, и его рука, лежащая на тугом плече парня, спросила: «Вы лучший друг Женьки Столетова, вы сидели на одной парте с ним, вы дружили с пятилетнего возраста... Как же случилось так, что вы, Андрей, греете на солнце веснушчатое лицо, а Женька Столетов лежит на деревенском кладбище?»

Игрушечный паровозик закричал обиженно и тонко, лязгнули буфера; земля под Прохоровым и Лузгиным поплыла мимо стонущих вагончиков – это двинулся в обратный путь, увозя в поселок первую смену, специальный рабочий поезд; положенные на болотистую землю рельсы изгибались и поскрипывали, паровоз старательно работал поршнями, и через несколько секунд Прохоров почувствовал головокружение от того, что поезд внезапно прекратил движение, а земля, наоборот, оказалась движущейся и солнечность освобожденной от поезда эстакады хлынула в глаза.

На эстакаде все уже двигалось, все работало: сгибались и разгибались краны, наползали медленно трактора, из лесу доносился предупреждающий крик валыщиков «О-о-о-о!», затем раздавался длинный влажный удар падающего дерева.

– Вот и «Степанида»! – сказал Андрей Лузгин, показывая на трактор, медленно разворачивающийся на эстакаде. – Видите белые буквы?

Прохоров прищурился... И в областном управлении милиции, и дома перед отъездом, и на пароходе, и в кабинете инспектора Пилипенко он представлял, как подойдет к столетовскому трактору, пощупает теплый металл, помедлив в предчувствии счастливого озарения, заберется в кабину. Прохорову отчего-то надо было непременно сесть на рабочее место Евгения Столетова, посмотреть сквозь ветровое стекло, оказаться наедине с самим собой в ограниченном металлическом пространстве. Ему казалось, что это будет то мгновение, с которого он начнет отсчет своего рабочего времени.

«Степанида» сзади казалась нелепой, как все трелевочные трактора, которым рабочее предназначение отрубило хвостовую часть. Впечатление было такое, словно легкомысленные люди взяли нормальный человеческий трактор и, пребывая в юмористическом настроении, шутки и развлечения ради подкоротили его... Кургузый, заносчивый, как щеголь в тесном фраке, трактор «Степанида» катился бодрым колом по пням и ямам, по кочкам и бревнам, по лужам и мелколесью в прозрачный сквозной сосняк, и шагающий за ним Прохоров пробормотал: «А ведь на самом деле Степанида!»

– Пусть все уйдут от машины! – сквозь зубы приказал он.

Прохоров оказался наедине с теплой, живой машиной, и это было именно так, как он представлял себе в областном управлении милиции, дома, на пароходе и в кабинете Пилипенко. Ему был нужен такой трактор, который в любое мгновение мог двинуться, хотелось, чтобы от мотора веяло ласковым и тревожным теплом, чтобы не было никого, кроме трактора, тайги и его, Прохорова. Закрыв глаза, он увидел Евгения Столетова на групповой школьной фотографии, зафиксировав упрямый, отталкивающий взгляд парня, деловито открыл глаза: «Не торопись, Прохоров!»

Он обошел машину, расставив ноги, в подвижности начал глядеть на капот трактора, где над радиатором было написано белой масляной краской «Степанида». Прохоров опять почувствовал властную неумолимость молодого заносчивого почерка. Писавший был так нетерпелив, что его выдержки хватило только на две первые буквы: в семи последующих Столетов уже спотыкался о необозримую вечность времени, две последние буквы, схватившись за руки, плясали, а нетерпеливый маляр даже на этом не мог остановиться – слово «Степанида» было подчеркнуто исчезающей к концу косой линией.

– Степанида! – прислушиваясь, произнес Прохоров. – Степанида!

Он мог поклясться, что никакого другого имени, кроме Степаниды, трактор не мог и не хотел иметь; трактор встал бы на дыбы, если бы его назвали, скажем, Марией. Все в нем – от лобастого ветрового стекла до отполированных мхами гусениц – было от солидной, вальяжной и довольно хитроумной Степаниды – бабы толстой и смешливой. Да, эта машина могла быть только Степанидой: она выносила свое имя, как мать ребенка, существовала в мире именно как Степанида.

– Степанида! Степанида!

Примерив на себя движения, которые надо было сделать, чтобы забраться в кабину трактора, Прохоров поставил правую ногу на гусеницу, руку положил на скобу, левой ногой оттолкнулся от земли, хотя несколько не сомневался в том, что юноша со школьной фотографии поступал наоборот: ставил на гусеницу левую ногу и за скобу брался левой рукой... «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!» Вот в чем была загвоздка, вот что надо было решить в первую очередь: сказал ли эти слова человек с лицом собаки боксера, или их случайно извлек из бухгалтерской души следователь Сорокин?

Прохоров сумрачно затаился в подрагивающей кабине, вызвав образ со школьной фотографии, опять закрыл глаза, затем снова деловито открыл их, чтобы понять, отчего же это над ветровым стеклом, на самом стекле и даже на свободном пространстве приборного щитка «Степаниды» висят вырезанные из журналов цветные фотографии и рисунки, изображающие негров, негров и негров, среди которых не было ни одной женщины, ни единого ребенка, а только старики. Сморщенные, как пустой кошелек, лица, глаза с библейской тоской, беспомощные, кукольные губы. Что это могло значить? Почему двадцатилетний парень коллекционировал стариков негров? И по какой такой причине он наполнил кабину машины карманными электрическими фонариками? Раз – фонарик, два – фонарик, и над капотом – фонарик, и за спиной – фонарик...

Прохоров осторожно положил руки на рычаги машины. «Степанида» добродушно пофыркивала; солнце, пробив облака, опускалось уже за кроны сосен, вершины деревьев трепетали. Левую ногу поставить на сцепление, правой рукой хрустнуть шестернями передачи, нажать второй ногой на акселератор – мерное движение, болтающийся перед ветровым стеклом мир; неподвижные старческие глаза негров, одиночество металлической кабины.

Негры тревожили Прохорова, как шепот за тонкой стенкой. Он поерзал на жестком сиденье, сняв руки с рычагов, подул на пальцы, словно они озябли... «из вещей погибшего Столетова в тракторе обнаружено: карманных фонариков – пять, старая полукожаная куртка, книга «Как самому сделать моторную лодку», противосолнечные очки, соска-пустышка, перочинный нож...» Ну а негры, гражданин Сорокин? Почему не вошли в опись негры? Негры ведь, гражданин Сорокин, глядели трактористу Столетову прямо в лицо.

Криво улыбаясь, Прохоров выбрался из кабины «Степаниды», оказавшись на земле, подошвами почувствовал, какая она прочная, верная, устойчивая.

– Погуляем, Андрей! – сказал Прохоров. – Выберем тихую поляну, сядем на пеньки...

Сосняк послушно сомкнулся за Прохоровым и Лузгиным, в углубляющейся тишине слышался телеграфный перестук дятлов, поляну покрывал нежный мох, и опять все было так, как Прохоров представлял в областном управлении милиции, дома, на пароходе... Он найдет лучшего друга Женьки Столетова – тракториста Андрея Лузгина, поведет его в тайгу, положит парню на плечо свою руку...

– Садитесь, Андрей.

Прохоров вынул из кармана большой носовой платок, развернул его, обдумывая каждое движение, аккуратно застелил срез короткого пенька. Все это он проделал так, словно на нем не было мешковатого костюма, нелепого галстука, не торчали во все стороны продолговатого черепа жесткие волосы. Когда он сел, сделалось заметным, какое у него усталое, ночное лицо, горькие морщины у губ и такие глаза, которые знают много о тракторах, деревьях, неграх, белых прирельсовых камнях, карманных фонариках, участковых инспекторах.

– Почему Женька Столетов коллекционировал стариков негров?

У Андрея Лузгина побледнели яблочные щеки: занудные движения капитана, полусумрак, ночное лицо, морщинки у глаз, похожие на бескровный след ножа, – все было такое, чего еще не видел двадцатилетний Лузгин, живущий в простом и ясном мире. В этом лузгинском мире люди умирали редко, смерть казалась инопланетной жительницей, сном, когда можно было проснуться.

– Отвечайте, пожалуйста, Андрей! Почему Евгений коллекционировал негров?

– Он давно вырезал изображения негров... Кажется, в третьем классе он взял в библиотеке «Хижину дяди Тома» и всю изрезал... В класс приходил директор, старуха библиотекарша, слепой завуч Викентий Алексеевич... Они тоже спрашивали: «Почему ты это сделал, Евгений Столетов?» Женька молчал...

– А карманные фонарики?

– Он боялся темноты.

Чирикнула в сосновом подросте пичужка, слева обиженно выла «Степанида», комары торжественно гудели над головой. «Забавный мальчишка!» – подумал Прохоров о Лузгине, но занят капитан был другим: мысленно поставил рядом с розовощеким парнем погибшего, несколько раз переместив их с места на место, заставил пойти по ночной деревенской улице. В руках длинновязого Женьки Столетова поблескивал фонарик, тонкий луч спотыкался на неровностях дороги, шаги тревожно отдавались в тишине. Лаяли собаки, холодно поблескивала река, мир представлялся станционным тупиком, за границами которого жили старики негры...

– О вашем письме, Андрей... – негромко сказал Прохоров. – Почему вы думаете, что Столетова убили?

У Андрея снова побледнели щеки.

– Я не писал, что его убили! – загораживаясь ладонями, воскликнул он. – Я писал, что не верю... То есть я не могу верить... Женька умел хорошо прыгать. Он не мог сорваться. Понимаете, мы всегда прыгали с подножек... – Он прижал руки к груди. – Узкоколейные поезда ходят медленно...

Парнишка был, видимо, умен, откровенен, от ласковой вопросительной интонации умел вывертываться наизнанку, как рубаха, но в мире Лузгина, где смерть считалась исключением из правила, не существовало еще тончайших и многочисленных переходов между «да» и «нет». Поэтому было страшно выбирать между двумя полярностями и необъяснимой жутью веяло от вопроса: «Почему вы думаете, что Столетова убили?» А вот Евгений Столетов, должно быть, мгновенно расправлялся с опасными «да» и «нет». Вырезал из журналов и книг стариков негров, трусил в темноте, выставлял с фотографии незащищенный кукиш подбородка...

– По делу проходят три женщины, – задумчиво сказал Прохоров. – Людмила Гасилова, Анна Лукьяненко, Софья Лунина... Что вы знаете о них?

Лузгин сосредоточенно смотрел на свои темные от машинного масла руки.

– Следователь Сорокин меня уже спрашивал об этом, – медленно сказал он. – Тогда я ответил, что не знаю, а теперь... Когда вы спросили про негров, я подумал, что все расскажу... – Лицо у него вдруг сделалось несчастным. – Мне кажется, что вы хорошо относитесь к Женьке! – воскликнул Андрей. – Я не ошибаюсь, Александр Матвеевич?

Прохоров покачал головой.

– Дурошлеп! – сказал он. – Яблочко наливное!..

На школьной фотографии Людмила Гасилова с бантиками на голове стояла по левую руку от Столетова, улыбалась классному окошку и была единственной из тридцати двух десятиклассников, кто не имел никакого представления о том, что стоит перед объективом фотоаппарата. Она также не подозревала о том, что ее локоть прикасается к бедру белобрысой соседки, что стоит она, Людмила, на крашеном полу и что на дворе – двадцатый век. Нельзя также было полагать, что красивая девушка торопилась навстречу жизни, – у нее было такое безмятежное лицо, какое, наверное, должно было иметь Сегодняшнее Благополучие, Счастье и Удача, а в окно девушка глядела только потому, что окно случайно оказалось в поле ее зрения – с таким же успехом она могла глядеть на кончик носа белобрысой соседки, на обшарпанный учительский стол или на Женьку Столетова...

– Я все скажу, Александр Матвеевич! – жалобно проговорил Андрей Лузгин. – Понимаете, Пилипенко, Сорокин, ребята из райкома комсомола... А я ничего не могу сказать! Ведь вот что получается... – Он по-детски вздохнул. – Людмилу Гасилову он любил с шестого класса, говорил, что женится на ней, куда бы Людка ни уехала... Он часто об этом говорил, а я... Я старался перевести разговор на другое...

– Почему?

– Вы, может быть, тоже не поймете... Он говорил о ней так, словно они уже были женаты, хотя Женька...

Андрей остановился, прикусив губу, немного помолчал.

– У Женьки ничего не было с Людмилой... Он только ходил... Он ходил к Анне Лукьяненко...

Сидел перед капитаном Прохоровым богатырь и прятал глаза, когда на язык просилось слово, обозначающее любовь; маячили перед капитаном могучие плечи, а парень мучился тем, что его погибший друг говорил о любви так, как она, любовь, того требует.

«Деревенщина!» – ворчливо подумал Прохоров.

А «деревенщина» все еще топтался на месте, все еще ковырял землю кирзовым сапогом сорок пятого размера.

– Он пошел к Анне Лукьяненко... Он почему-то пошел к ней, хотя собирался... Он хотел жениться на Людмиле.

...Из трех фотографий вдовы Анны Лукьяненко капитан Прохоров выбрал ту, где женщина сидела на обском берегу с тусклоглазой и серой, как мышь, подругой и старательно подтверждала предположение, что покойный тракторист Столетов любил яркие вещи. Но если Столетов делал это осознанно, то какого же черта в его горячую голову пришло решение прыгать в ночь, в свистящий воздух, в смерть с камнем-черепом? Не мог он разве погодить, если прекрасные глаза вдовы на фотографии умоляли?

– Не надо волноваться, Андрей! – насмешливо посоветовал Прохоров. – А вот лучше ответьте на такой вопрос... Когда ходил Столетов к вдове Лукьяненко? До или после коварной измены Людмилы Гасиловой?

У Лузгина смешно, как у голодного птенца, открылся розовый рот.

– Какой измены? Разве Людмила изменила? С кем?

Прохоров усмехнулся:

– Давайте-ка соблюдать статус-кво... Вопросы задаю я, вы на них отвечаете, затем, довольные друг другом, мы чинно расходимся... Когда ходил Столетов к вдове?

Пока Андрей с яростью рабочего слона, взбунтовавшегося от пустяка, переживал коварство, капитан Прохоров окончательно решил, что не бывает таких отношений между двумя людьми, где не существовало бы тайн друг от друга. Судя по той же школьной фотографии, Евгений Столетов принадлежал к тем, кто в несчастье замыкается, повалившись на кровать и сунув голову под подушку, наедине с самим собой решает вопрос: «Быть или не быть?»

– Он ходил к Анне после восьмого марта, – сказал Лузгин. – Девятого или десятого... Седьмого Анна тоже звала Женьку в гости, но он сказал: «Я не отмечаю женские праздники!» – а дня через три пошел... Мы гуляли у клуба, он вдруг говорит...

– Что?

– Он сказал: «Это словно умереть!» Потом ушел... В руках тросточка, шляпа на затылке, ноги длинные...

Прислушиваясь к тишине, Прохоров машинально отметил, что дятлы смолкли так дружно и внезапно, точно у них кончился рабочий день; уже не слышались тяжелые, бичующие удары о землю спиленных деревьев, ветер утишился в высоких кронах, так как в тайгу потихонечку да полегонечку вползал вечер: дышали прохладой ночи мхи и лакированные листья брусники, сосновые ветви так старательно пахли смолой, точно спешили вместе с дневным теплом истончиться до звонкой сухости, а совсем недалеко от Прохорова, оказывается, лежала мертвая молодая сова.

– Людмила Гасилова, она какая? – спросил Прохоров. – Добрая, злая, нервная, спокойная?

– Она красивая... Она очень красивая... – Андрей замолк, чтобы удивленно поднять брови. – А вот какая она? Добрая, злая, нервная, спокойная... Она просто красивая и...

– И?

Андрей вдруг засмеялся:

– Я не знаю! Женька говорил, что Людмила всегда пасется... Ну вот! Вы ничего не понимаете!

...На школьной фотографии Людмила Гасилова не была просто красивой – там по левую руку от Женьки Столетова стояла обыкновенная, самая заурядная красавица. Доморошенный фотограф был настолько немудряц, что не стал выбирать лучший ракурс, а снял десятиклассников, как бог велел, и вот из просто красивой Людмилы Гасиловой родилась красавица. Эти ласковые брови, этот искусно вылепленный классический нос, эти безмятежные глаза – поклясться можно, что серые! – этот изгиб шеи, который пошляк назвал бы лебединым, этот подбородок...

– Людмила похожа на молодую корову, – осторожно, точно на ощупь проговорил Андрюшка Лузгин. – То есть внешне она не корова, она красивая, но... – Глаза у парня сделались несчастными. – Чепуха какая-то! Ну как вам объяснить?.. Тигр охотится на антилоп, орел – на зайцев, человек работает, учится, читает, Людмила – пасется... Да вы сами все поймете, когда увидите ее...

Кожей лица, спиной, коротко остриженным затылком Прохоров чувствовал холод остывающей тайги. В безветренном воздухе нагнеталась стеклянная прозрачность, звуки двоились, как в лабиринте пустых комнат, сосновые иглы увлажнялись, словно после тяжелого дня покрывались трудовым потом; ветви казались мягкими, нежными, ими хотелось, как веером, опануть лицо, горящее от безжалостных комариных укусов.

– Чем непонятнее, тем лучше... – проговорил Прохоров и туманно улыбнулся. – В принципе общение двух людей способно дать только примитивную информацию... Да или нет. Нет или да... Эмоциональная окраска опасна! Спросите-ка у Гулливера: «Где вы находились в тот час, когда остроконечники и тупоконечники вошли в заговор?» Не правда ли, Андрей, хочется тут же арестовать Гулливера?

...У девятнадцатилетнего Евгения Столетова на школьной фотографии ноздри были гордо и в то же время незащищенно раздуты. Запахло ли в классе черемухой, приплыл ли слева аромат девичьих волос, пахнуло ли от горячего пола масляной краской – какое это имело значение, если рука на дружеском плече Андрея лежала так, словно Столетов хотел оттолкнуться, уйти, исчезнуть. Разве можно было сомневаться, что вечером двадцать второго мая эта длинная и худая рука что-то перечеркнула, на чем-то поставила крест или... «Что произошло двадцать второго мая?» Прохоров мысленно передразнил Сорокина: «Обыкновенный рабочий день!» Дура!

– Вы упрямец, Андрей Лузгин! – недовольно сказал Прохоров. – Я вас просил рассказывать откровенно, а вы... Мямлите, жуете мочало, играете на растрепанных нервах усталого капитана... Вот извольте-ка преподобно рассказать о вечерних событиях двадцать второго мая! Советую начать так: «В тайге еще жили майские холодные снега...» Подходит?

Андрей вздохнул:

– Подходит!.. В тайге еще жили...

За пять часов до происшествия

...в тайге еще жили майские льдистые снега, лужи в лесосеке покрывала радужная нефтяная пленка, солодкий запах оттаивающей земли щипал губы; резиновые сапоги по щиколотку проваливались в кашу из хвои и снега, сосны хлюпали на ветру ветками, как мокрое белье на веревке. Насвистывая «Черного кота», Евгений Столетов развернул «Степаниду» в центре эстакады, помедлив секундочку, с размаху бросил машину на гору бревен, чтобы тупой лоб трактора проткнул низкое небо ослепшими фарами. Когда стало ясно, что машина перевернется на спину, если гусеницы сдвинутся еще на сантиметр, Женька выбрался из кабины, счастливо улыбнувшись, поманил пальцем такого же счастливого Андрея Лузгина.

– Притыкин! – ласково сказал Женька. – Зри! Стоит курит сигарету... Пошли?

– Пошли! – обрадовался Андрюшка. – От него с утра опять пахло.

Бригадир Притыкин на самом деле курил сигарету «Прима», круглое, узкоглазое, налитое здоровьем и водкой лицо было таким красным, словно с него содрали наждачной бумагой кожу. Вразнотык торчали лошадиные прокуренные зубы, животной радостью бытия веяло от каждого сантиметра сутулой, кривоногой фигуры. Заметив приближающихся парней, Притыкин стиснул зубы, переступил с ноги на ногу нетерпеливо, с фырканьем, как уросливый жеребец.

– Иван Михайлович, голубчик! Родной! – еще на ходу жалобно закричал Женька Столетов. – Себя не жалеешь, нас пожалей!

– На кого ты нас спокинешь! – рыдая, подхватил Лузгин. – Пожалей ты нас, сироток! Побереги ты нас, болезных!.. Ой, глядите, люди добрые, как ходит наш Иван Михайлович рядом со своей смертушкой!

Причитая, обнажив поникшие головы, парни подошли к бригадиру Притыкину, согнув ноги, хотели уж было пасть перед ним на колени, да успели поддержать друг друга: Женька Андрея – за плечи, Андрей Женьку – за талию. Молитвенным безмолвным движением они протянули дрожащие руки к отступающему Притыкину, жутким шепотом промолвили:

– Не с той стороны, Иван Михайлович, не с той...

– Рак! – слезно зарыдал Андрюшка Лузгин. – Если куришь сигарету с другой стороны – рак! Ой, что ты делаешь, Иван Михайлович? Чем тебе жизнь опостылела, что ты нас спокидаешь? Мы ли тебя не любим, мы ли тебе не служим!

– Дифференциальное интегрирование... – в забытии шептал Столетов. – Разгерметизируется вестибулярный аппарат, правая плоскость эклиптики сойдется с Леонардо да Винчи в области Вальпургиевой ночи...

Рука Женьки Столетова медленно поднялась, подползла к губам опешившего бригадира, вынула из них сигарету «Прима» и вставила ее обратно, но другим концом.

– Будет жить! – восторженно заорал Женька Столетов. – Мы, мы вернули к трудовой жизни товарища Притыкина!

Притыкин пришел в себя только тогда, когда услышал повальный хохот на эстакаде, увидел, как заблаговременно отходят на безопасные позиции Столетов и Лузгин, но было поздно... Смеялись в сквозных от солнца кабинах крановщики, катались от хохота трактористы, зацепщики, чокеровщики, мотористы бензопил, сдержанно улыбался в окне вагонки мастер Гасилов; две смены рабочих смеялись над бригадиром Притыкиным, и только двое не смеялись – сам Притыкин и тракторист «Семерочки» Аркадий Заварзин.

Узкоколейный паровоз трижды просительного прогудел, под сапогами заторопившихся рабочих захлюпала вода, пробующе всплакнул сиреной один из погрузочных кранов: рабочий поезд уходил в Сосновку, и парням пора было садиться в вагон, но Женька Столетов задумчиво стоял на месте – козырек серой кепки надвинут на глаза, на худой длинновязой фигуре топорщилась промасленная спецовка, согнутые руки были плотно прижаты к бокам.

– Женька, поехали! – позвал Андрей Лузгин, но Столетов не услышал. – Женька, ну, Женька!

За решетчатым окном передвижной столовой виделся мастер Петр Петрович Гасилов; переходя от окна к окну, то исчезал из поля зрения, то появлялся, весь освещенный весенним солнцем. Столетов приподнялся на носки кирзовых сапог, вытягивая шею, наблюдал за ним. Лицо у него было такое, словно оборвалось все, что связывало Женьку с лесосекой, тайгой, эстакадой, словно только двое оставались в мире – Столетов и мастер Гасилов.

– Опоздаем! Ты слышишь? Опоздаем! Женька же...

Женька Столетов неотступно глядел на смутный силуэт мастера Гасилова, а в Женькину спину с тем же выражением смотрел тракторист Аркадий Заварзин – перенес тяжесть тела с одной ноги на другую, поставил локти на теплый металл трактора.

– Вот и опоздали!

Оставив на эстакаде запах сухого пара и березовых дров, поезд быстро скрылся. Во всю ивановскую уже работали трактора и краны, стучало сырое дерево, ветер свистел в кронах; было действительно холодно, зябко; после ухода поезда на эстакаду со всех сторон хлынула пустота.

– Женька, что с тобой?

Ошеломленно, словно пробуждаясь, Столетов повел плечами, зажмурил глаза, поежился. Тяжелая овальная капля холодного пота выползла из-под козырька серой фуражки, добравшись до брови, растеклась по ней. Столетов хрипло засмеялся, больно сдавив тонкими пальцами локти Андрея Лузгина, приблизил лицо к лицу... Рот у Женьки маленький, круглый, похожий на рот государя Петра Великого с известного портрета; рот окружали твердые короткие мускулы, верхняя губа казалась припухшей.

– Заварзин тоже остался! – прошептал Андрей. – Стоит за спиной...

– Знаю! Я его чувствую!... Пойду один!

– Один не пойдешь!

Снова переменивший положение тела тракторист Аркадий Заварзин казался распятым на темном тракторе – раскинул руки по шиту, склонив голову, страдательно-ласково глядел на Столетова. У него было красивое, твердо очерченное лицо, кожа казалась нежной, бархатной, ресницы были длинные, загнутые, и одет он был слишком вызывающе для тракториста: хорошие джинсы, прошитая белыми нитками кожаная куртка, на темной рубашке – галстук.

– Стоите? – вежливо спросил его Женька. – А ведь трактор-то мой... Стояли бы, гражданин, у своего трактора!

Заварзин и теперь не двигался; весь он был задумчивый, ленивый, мягкий в суставах, как неподвижно лежащая возле мышиной норы кошка. У ног тракториста расплывалась радужная лужица, отсвет от нее падал на бледное лицо. Наконец Аркадий Заварзин нежно улыбнулся, поморгав, сказал:

– Я три раза тебя предупреждал, Столетов: не ставь машину торчком! А больше трех раз я не предупреждаю...

Он поднес руку ко рту, пощупал нижнюю яркую губу.

– Придется выдавить тебе глаза, Столетов... Легче отсидеть червонец, чем видеть, как ты топчешь землю!.. Ну почему ты, Столетов, не послушался меня? Просит же человек: «Ставь трактор ровно!» Отчего не уважить? Человек человеку – друг, товарищ и брат.

Вдалеке одиноко закричал ушедший поезд, размножившись в тайге, эхо долго шаталось между деревьями, потом оборвалось так резко, точно звук прихлопнули мягкой тряпкой.

– Выдавлю тебе глаза, Столетов, человеком стану... Я ведь не живу, а существую, когда ты по земле ползаешь... В тюрьме спокойнее... Глаза твои не видеть... Спать хорошо буду...

Аркадий Заварзин выпрямился; протянув руку, ласково положил ее на высокое плечо Евгения Столетова, и показалось, что Заварзин потянулся, начал расти.

– Пошел на Гасилова? – сочувственно спросил Заварзин. – Неужели не понимаешь, родной, что ты это на меня поднял руку?.. Ты чего, родной? Почему на меня не глядишь? Глазнышки бережешь?..

Из передвижной столовой вышел мастер Гасилов, остановившись возле края эстакады, выпрямился, огляделся с начальственной ленцой; весь он был безмятежный, по-весеннему светлый, по-домашнему уютный. На нем хорошо сидела скромная рабочая куртка, мудрое лицо непритязательно улыбалось солнцу, волосатые руки добродушно сцепились на подтянутом животе. Славный, хороший, добрый!

– Глаза ты мне выдавишь попозже, Заварзин! – тихо сказал Женька и, повернувшись, пошел к Петру Петровичу Гасилову, продолжая бормотать: – С глазами потом, потом, Заварзин... Все потом, все потом...

Он уже двигался стремительно, как бы падая вперед, казалось, что Столетова подгоняет сильный ветер; он и со спины походил на молодого царя Петра – не хватало только палки и развевающегося кафтана. Шагая, Женька в мелкие брызги раздавливал голубые лужи, щепки веером летели из-под длинных ног, изломанная тень взволнованно волочилась за ним, пересекая бревна, пни, машины, людей, желтые сосны. Подойдя к Гасилову, Женька что-то сказал ему, мастер в ответ улыбнулся, тоже что-то сказал, затем они быстро вошли в вагон.

– Люблю молодых дураков! – услышал Андрей мечтательный голос Аркадия Заварзина. – У молодого дурака спина прямая, ноги – палками. – Он вдруг кокетливо улыбнулся. – А ты умнее Столетова, дружок! У тебя спинка мягкая, бабья, с желобочком...

Андрей слушал его вполуха, неуважительно – главное было там, в вагоне передвижной столовой, где металась между окнами длинная фигура Женьки, где мастер Петр Петрович Гасилов стоял соляным столбом. С Аркадием Заварзиным проблема решалась просто: взять его за отвороты пижонской куртки, приставить спиной к сосне: «Если пикнешь, тут тебе и карачун!» Короткий удар в золотозубый рот, второй удар – в солнечное сплетение, беспокойная мысль: «Не слишком ли?»

– Поехали домой, Заварзин, – медленно сказал Андрей. – Я без тебя не уеду!.. Грузовой состав сформируется, поехали!

Мелко семена, торопясь и поскальзываясь, подходил к ним сменщик Столетова – маленький, сморщенный сорокалетний мужичонка Никита Суворов в такой короткой телогрейке, что из-под нее высывалась сатиновая рубаха. Он на ходу восторженно всплескивал руками, личико было умиленным, глаза сияли.

– Ну, ты гляди, народ, чего делается! – восторгался Никита. – Он ведь лететь хочет, трактор-то, лететь! Он ведь ровно селезень, когда от воды отрывается... Ах ты, мать честна! До чего же этот Женька чуд-ливый!.. Ты отойди, Арканюшка, от трактора-то, отойди! Не ровен час, перевернется... Ну, этот Женька такой чудливый, что от него ложись на землю да помирай...

...Спешно темнело в лесу, в пролетах сосен мелькали огоньки тракторных фар, рокот моторов был так отчетлив, словно поляна, на которой сидели Прохоров и Лузгин, вплотную приблизилась к лесосеке. В полумраке лицо деревенского богатыря казалось расплывшимся, круглым, белые пятна кулаков покорно лежали на коленях. Закончив рассказывать, он вздохнул:

– В Сосновке я самый сильный! Вот Заварзин и поехал со мной... – Он опять остановился, наклонившись к Прохорову, изумленно спросил: – Почему вы не интересуетесь Заварзиным? Разве вас не волнует, почему он угрожал Женьке? А вы все время расспрашиваете о Гасилове.

Прохоров промолчал. Он слушал Лузгина лениво, рассеянно следил за блуждающими в лесу огнями, лицо у него было скучное, и думал Прохоров о далеком: вспомнилась родная деревня Короткино, теплая зима тридцать девятого; потом взбодрилась ручьями дружная весна, превратившись в лето, вывела из березняка стайку девчат в красных и синих косынках; взявшись за руки, девчата спускались с веселой горушки, но пели грустное: «Меж высоких хлебов затерялся...» Затем Прохоров увидел свою мать. Молодая, насмешливая, шла она с коромыслом на покатых плечах, улыбаясь, подпевала девчатам: «...горе горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело...» Потом появился отец с желтой сетью в руках, ворча, пошел, навстречу матери; поплавки из балберы¹ волочились по земле, приятно постукивали... Прохоров помотал головой, с досадой понял, что ему теперь долго не отвязаться от песни «Меж

¹ Балбера – кора старого осокоря.

высоких хлебов затерялся...» – будет путаться в нужных мыслях, застревать между словами, першить в горле.

– Все, что вы рассказывали, правда, правда и только правда! – задумчиво сказал Прохоров. – Врать вы не умеете, Лузгин, но... Черт возьми, почему правда в вашем рассказе кончилась на словах Заварзина: «Пошел на Гасилова?» Что вы утаиваете от меня?

Старинная песня продолжала работать. Прохоров посмотрел на темную землю – она пела: «...горе-горькое по свету шлялося...» – перевел взгляд на смутную во мраке сосну – та продолжала: «...и на нас невзначай набрело...» Он опять покрутил головой, со злостью убил на шее комара.

– Меня не обведешь вокруг пальца, Андрей! После слов: «Пошел на Гасилова?» картина исказилась... Что вы скрываете? Почему сообщаете полуправду?

Лузгин отклонился назад, скрытый темнотой – виднелась только полоска белых зубов, – затаился в молчании. Затем выдал из темноты:

– Да ничего я не скрываю!.. Война Гасилову была объявлена давно... Вот Заварзин и сказал...

Лгунишка! Птенец! Кого он хотел обмануть? Капитана Прохорова, того самого, который... Прохоров опять стоял на яркой деревенской улице, с коромыслом шла навстречу мать, поплавки из балберы стукотали весело, как деревянный ксилофон... Черт возьми, он, оказывается, не знал всех слов песни «Меж высоких хлебов затерялся...» Что там шло дальше, за словами «и на нас невзначай набрело»? Прохоров закусил губу, чудом удержался от того, чтобы не спросить у Лузгина, что там шло дальше.

Поднявшись, он понял, что кончился теплый ясный вечер, что на землю опустилась холодная нарымская ночь, пронзенная длинным светом звезд. В просвете сосен висел экзотическим бананом месяц, от земли поднимался пряный туман, плавал простынными полосами; злыми голосами ревели трактора, желтые пучки света качались в темноте прожекторами осени сорок первого года. Ночь была, ночь.

– Меж высоких хлебов затерялся... – безнадежно пробормотал Прохоров и выругался: – Черт знает, что там такое набрело?

5

Стуча сапогами, участковый инспектор Пилипенко вышел из кабинета, большая навозная муха жужжа билась о стекло, разошедшийся пол раздражающе скрипел, а в дополнение ко всему ныл зуб мудрости, который давно надо было бы выдрать. Сам капитан Прохоров стоял у распахнутого окна, глядел на реку, по которой празднично двигался большой белый пароход «Козьма Минин». В пух и прах разодетый капитан стоял на ходовом мостике, по верхней палубе гуляли пассажиры, блестели стекла, яркие спасательные круги, белые переборки. «Уехать бы! – размышлялся Прохоров. – Забраться в одноместную каюту, взять с собой “Трех мушкетеров”...»

Бог знает что с ним происходило! Пилипенко вызывал острое – до боли в висках – раздражение, ночь Прохоров провел отвратительно, с раннего утра мучила изжога, а минуту назад он забыл, как зовут Гасилова... Прохоров ленивыми движениями снял галстук, бросил его на раскладушку, застеленную белым пикейным одеялом, искоса посмотрел на тетрадную страничку, которая, оказывается, была зажата в его правой руке. Нет, действительно, что с ним творится?

Прохоров поднес страничку к глазам, сморщившись, прочел: «Большинством голосов проходит предложение товарища Столетова». Дальше – жирное многоточие, затем шли написанные каллиграфическим почерком ошеломительные слова: «Просить райком комсомола оказать содействие в снятии с должности мастера Гасилова!» а кончалось все торжествую-

щим восклицательным знаком. Протокол комсомольского собрания писала, видимо, девушка лет семнадцати, можно было дать голову на отсечение, что писавшая белобрыса, светлоглаза, волосы заплетает в косички, на клубных танцах забивается в темный угол и глядит на Женьку Столетова обожающими глазами. «Не протокол, а любовное объяснение! – рассердился Прохоров. – Не смотреть надо было на Женьку, а получше записывать! Больше было бы пользы...»

«Снять с должности мастера Гасилова!..» А за что?

«Белобрыса холера! – ругался Прохоров. – Не могла как следует записать речь обожаемого Женечки, глядела, дуреха, ему в рот, пропускала целые куски. А вот теперь возись, ищи ветра в поле, восстанавливай Женькину речь по словечку...»

Капитан Прохоров еще раз выругал белобрысую, когда почувствовал, что не справляется с собой, – этот дурацкий протокол, нашпигованный любовью, эта тоска девчонки по несбыточному, этот восклицательный знак. Он почувствовал резкий запах арабских духов, в полутьме прошуршала твердая синтетическая юбка, сделалось пусто, прохладно, точно на сквозняке, и низкий, почти мужской голос проговорил насмешливо: «Капитан Прохоров звучит лучше, чем майор Прохоров!» Женщина засмеялась, словно аплодируя, похлопала ладошкой о ладошку. «Давно замечено, – сказала она, – что на улицах майоров в два раза больше, чем капитанов. Боже! Майорами хоть пруд пруди!» В желтоватых пальцах Веры дымила забытая сигарета, лежал на тахте скомканный носовой платок. Он глядел на него и скучно думал: «Красивая женщина!»...

...Белый пароход «Козьма Минин» давным-давно скрылся за крутым поворотом сиреневой реки, по улице шли двое босоногих мальчишек с удочками, размахивая руками и ужасаясь: «А Гошка ка-а-а-к прыгнет, ка-а-а-к подскочит...» Зачем прыгал Гошка, какого черта ему надо было подскакивать, осталось неизвестным. И Прохоров решил, что Гошке никакой нужды подпрыгивать не было, как и у Андрюшки Лузгина не было никаких оснований для вранья. А ведь темнил, такой-сякой, скрывал что-то от капитана Прохорова, забивался в тень, когда понял, что проговорился...

Предстояло ответить на сто, тысячу, миллион вопросов! Почему мастер Гасилов произнес чужие слова: «*Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!*»? Был ли сегодняшний Аркадий Заварзин способен столкнуть Женьку Столетова с подножки платформы? Что скрывал Андрюша Лузгин? Спал ли парень, похожий на государя Петра, с Анной Лукьяненок? Почему не замечает фотоаппарат Людмила Гасилова? Почему до сих пор нет инспектора Пилипенко, ушедшего за техноруком Сосновского лесопункта? Уж кто-кто, а технорук-то должен знать, что случилось на лесосеке двадцать второго мая...

Технорук Сосновского лесопункта Петухов шел позади внушительного Пилипенко такой роскошный, что капитан Прохоров начал ожесточенно скрести короткими ногтями до сияния выбритый подбородок: «Батюшки мои!» Да и как было не удивляться, когда пыльной сосновской улицей двигался джентльмен английской выпечки – шляпа на нем была чрезвычайно короткополая, туфли сверкали активно, а о костюме ничего, кроме «Ах!», сказать было нельзя – такой был переливчатый да по-заморскому затаенный. Этому костюму не по Сосновке бы ходить, а по московской улице Горького – между магазином «Подарки» и лошадьёю Юрия Долгорукого.

Узкой лодочкой выставляя ладонь, Прохоров пошел навстречу техноруку Петухову.

– Если накричите на меня, будете правы, товарищ Петухов! – говорил Прохоров. – Попрошив вас в рабочее время прийти сюда, я нарушил... Я все нарушил, черт побери! Секите повинную голову...

Не давая Петухову опомниться, капитан подмигнул Пилипенко: «Смодаетесь-ка!» – не опуская руку технорука, повел его к удобному стулу, на ходу общительно беседуя:

– Я вчера, понимаете ли, простудился, знобит, знаете ли, ломит кость, как говаривал мой покойный дед... Ба-а-льшой был оригинал! Простуду, знаете ли, лечил спиртом, любое количество делил на пять частей: пять четвертых – вовнутрь, одну пятую – натирать грудь! Каково, Юрий Сергеевич!

Можно было себе представить, как удивился бы технорук Петухов, если бы узнал, что никакого деда, лечившего простуду спиртом, у капитана Прохорова не было, – дед по отцу погиб в Гражданскую войну, дед по матери в рот не брал спиртного, а болтовня о чуде деде капитану была нужна только для того, чтобы приглядеться к техноруку Сосновского лесопункта.

– Каково, Юрий Сергеевич, а! Деду-то было семьдесят пять... Были люди в наше время, не то что, знаете ли, нынешнее племя... Забавный был дед, забавный!

Прохоров постепенно снижал голос, наблюдая, как устраивается на стуле Петухов: сначала технорук положил ногу на ногу, но эта поза показалась неудобной – он ногу снял; затем поставил локоть на край стола, подвигал им так, словно проверял прочность доски, но опять что-то не понравилось – убрал локоть, подумал, скрестил руки на груди, одновременно отыскав спиной покойное положение на спинке стула. В такой позе Петухов и устроился – перестал двигаться, безмятежно смотрел на Прохорова коричневыми, с крохотной искоркой глазами.

– Чем обязан? – спросил он и так подвигал губами, словно сдерживал зевоту. – Я уже беседовал с товарищем Сорокиным.

Было ясно, что человек, умеющий так удобно устраиваться на стуле, знает цену словам, не торопится выкладывать на тарелочку с голубой каемочкой все то, что ему известно. Поэтому капитану Прохорову придется работать головой втрое больше, чем обычно, – достраивать за Петухова картины, выуживать меж словами нужное. «Брянская область, деревня Сосны, шесть километров до границы с Белоруссией, отец погиб в сорок втором... Парнишке тогда было около двух лет...»

– Вы неторопливы, Юрий Сергеевич, – одобрительно сказал Прохоров. – Я живу в Сосновке второй день, но уже чувствую, как затихает вот здесь... – он постучал себя по груди, – ...вот здесь лихорадка городской жизни. Я говорю слишком напыщенно? Да? Слишком красиво? Да?

– Есть немножко! Теперь многие говорят красиво...

«И одеваются...» – подумал Прохоров, стараясь определить, из какого материала сшит петуховский костюм; он блестел, переливался, был мягким, но немнущимся, из нагрудного кармашка – в будний-то день, в деревне-то! – торчал уголок шелкового платка. А какие у Петухова носки, туфли, как замороженно лежал на ослепительной рубашке галстук! А запонки! Настоящий янтарь, в золотой оправе...

– У меня слабость к хорошей обуви, – признался Прохоров. – Однако ваши туфли... Где брали? – голосом любопытной бабы спросил он.

– В ГДР.

– И костюм там же?

– Там же.

Вот каков бывший мальчишка из брянской деревни Сосны! Езживал по заграницам, ходил в будний день по деревне в таком костюме, которых в областном центре насчитывалось два-три...

– Мир тесен, как студенческое общежитие, – словоохотливо сообщил Прохоров. – Я был, представьте, в ваших Соснах... Подразделение, в котором лейтенант Прохоров изображал командира минометного взвода, освобождало Брянскую область.

Прохоров представил деревню Сосны: увидел древние избы, сбегаящие к узенькой речке, слышал скрежещущий звук колодезного журавля; две женщины стояли у колодца, застыв ладонями глаза от солнца, глядели в солдатские спины. Он подумал, что одна из женщин у

колодца могла оказаться матерью Петухова, а сам – тогда еще трехлетний – технорук мог стоять среди ребятишек, обступивших дорогу, по которой шли молчаливые солдаты.

– Вы еще больше удивитесь, Юрий Сергеевич, если узнаете, что меня ранило под Соснами...

Однако удивился не Петухов, а сам Прохоров. Поразительно было, что на лице технорука не отразилось даже любопытства, когда он услышал о родной деревне, и только сообщение о том, что Прохорова ранило, вызвало обязательную улыбку сочувствия на твердых губах. «Вот как!» – сказали глаза Петухова.

– Последний раз в Соснах я был четыре года назад, – не догадавшись остановиться, досказал Прохоров. – За речкой похоронен друг моего детства...

Прохоров поморщился от солнца, отраженного раскрытой створкой окна, выпрямил усталую спину: «А вот Петухову небось удобно... У него небось поясница не ноет!»

– Вы давно были в Соснах? – спросил он.

– Давно ли?.. Лет семь назад...

Прохоров сосчитал: два года Петухов работал в Сосновке, пять лет учился в институте; значит, он наезжал в родную деревню перед поступлением на учебу. До института, вспомнил Прохоров, теперешний технорук три года был трактористом; очерк о нем однажды опубликовала даже центральная газета.

Безмятежность технорука Петухова, способность молчать без вопроса в глазах «А что дальше?» оказались вдруг нужными Прохорову. У него теперь было время наблюдать за технорук, вспоминать Сосны, сравнивать, сопоставлять, отдыхаясь глядеть за окно, где плыла под синевой неторопливая Обь, суеился маленький зачуханный катер.

– Вернемся к нашим делам, – отдохнув, сказал Прохоров. – Меня интересует... Вы присутствовали на том комсомольском собрании, когда было принято знаменитое решение... Чего добивался Евгений Столетов?

Прохоров внезапно понял, чего не хватало лицу технорука – работы мысли. Именно от этого заграничный костюм Петухова казался снятым с чужого плеча, лицо – неинтеллигентным, а грубо сколоченным, толстокожим. Человек с таким лицом не мог спрашивать «Чем обязан?», не был способен ухаживать за Людмилой Гасиловой или откровенно рассказать о том, что произошло на лесосеке во время первой смены двадцать второго мая.

Несколько секунд Петухов спокойно раздумывал, глядел на Прохорова неподвижными глазами, затем равнодушно сказал:

– Мальчишество!

Они постепенно соединялись, мало-помалу съезжались вместе – деревня Сосны и три года работы на тракторе, Людмила Гасилова и черствое равнодушие к родной деревне, слово «Мальчишество!» и падающая вперед при ходьбе фигура Евгения Столетова. Трудно еще было сказать, в какой последовательной связи существовало все это, но предчувствие открытия ощущалось Прохоровым как щемящее беспокойство.

– Поехали тогда дальше, Юрий Сергеевич!

Бац! Лицо технорука сделалось интеллигентным, лобастым, умеренно умным: это заработала его точная, неторопливая, всегда деловитая мысль.

– Смысл речи Столетова уловить было трудно, – безмятежно сказал Петухов. – Еще труднее передать... Начал он, кажется, с того, что назвал Гасилова мещанином... Это запомнилось потому, что обладало конкретностью...

Петухов вспоминал добросовестно, гладкая речь складывалась из обдуманных, неслучайных слов.

– Затем комсомолец Столетов обвинил мастера в недобросовестности, но фактов не привел... Затем... Затем опять провал... Пожалуй, запомнилась еще одна фраза: «Гасилов не

похож на английскую королеву. Она царствует, но не правит, а Гасилов не правит и не царствует!»... Столетов был предельно эмоциональным человеком.

Капитан Прохоров поднялся, массируя пальцами поясницу, прошелся по кабинету. Он видел лицо Петухова, отраженное в стекле: технорук поворачивал голову вслед за Прохоровым.

– Худосочны наши воспоминания! – весело сказал Прохоров. – А не скажете ли вы мне, Юрий Сергеевич, что означает сей сон? – Он поднес к глазам протокол, с иронией прочитал: – «Петр Петрович Гасилов суть гелиоцентрическая система ничегонеделанья!»... Восклицательный знак, кавычки закрываются, каждое слово нуждается в комментариях... Пролейте свет, Юрий Сергеевич, Христом Богом прошу!

Петухов подумал.

– Я уже говорил, – с неудовольствием сказал он, – что выступление Столетова невозможно пересказать, а записать – тем более. Что же касается этой фразы... Столетов, видимо, хотел сказать, что Петр Петрович работает недостаточно много...

– И все?

– Думаю, все.

– Я вот что думаю, дорогой Юрий Сергеевич! – оживленно заговорил Прохоров. – Он экзистенциалист! Да-да! Наш Столетов – экзистенциалист! Ну, ей-богу же! Взрослый человек, образование среднее, прочел тонну книг, а говорит – ничего не поймешь... Между прочим, Юрий Сергеевич, вы как насчет философии, разной там диалектики? Не увлекаетесь? А я, знаете, люблю, грешным делом, люблю!

Прохоров обрадовался:

– Люблю, грешным делом, люблю! Возьмешь этак книженцию, завалишься на диванчик, глядишь – там Гегель сплоховал, там Спенсер чего-то такого, а то и сам Фейербах... Уголовничков за день наслушаешься, намаешься с ними до седьмого пота, а тут – «вольтерьянство», «субстанция», «нищанство». Как в раю! Смотришь: уснул на второй странице...

Капитан Прохоров сообразил, что в деревне Сосны была только начальная школа, значит, в послевоенные голодные годы – лет с одиннадцати – Юрка Петухов ходил в восьмилетнюю школу за семь километров от Сосен; потом, после восьмилетки, жил на частной квартире в райцентре Линцы, что в тридцати пяти километрах от родной деревни. Раз в неделю – автобусы тогда меж Соснами и Линцами не курсировали – он с тощим мешком за спиной шел домой той же дорогой, по которой наступал минометчик Прохоров. Юрка прибывал в родную деревню к полуночи, спал несколько тревожных часов и возвращался обратно в Линцы с тем же серым мешком – ведро картошки, небольшенький кусок сала, лук, может быть, немножко масла, мяса – ни-ни!..

– Ночью потеха! – смущенно захохотал Прохоров. – Фейербах мне снится в маршальских погонах, Гегель – сержантом, а Спенсер – старшиной... Однако утром просыпаешься – голова свежа, как молодой горох!

Прохоров отчетливо представил, как тракторист Юрий Петухов получает зарплату – неподвижно держит в пальцах разглаженные бумажки, лицо, не затуманенное мыслью, кажется грубым, неотесанным. Молодой тракторист редко ходит в дороговатую рабочую столовую, у него в тумбочке есть блестящая от старательной чистки кастрюля, небольшой чугунок; сало он покупает у местных жителей в ноябре, когда повсеместно режут свиней; два раза в месяц Юра Петухов ходит в сберегательную кассу, кладет деньги, книги не покупает. С леспромхозовскими девчатами тракторист Юрий Петухов...

– Ха-ха-ха! – театрально засмеялся Прохоров. – Вы правы, Юрий Сергеевич! Я болтун! Неисправимый болтун!

...Тракторист Юрий Петухов не интересовался леспромхозовскими девчатами, не привлекали его также институтские сокурсницы. Он хранил себя для будущего, ждал праздника,

который должен был прийти на улицу его Сдержанности. Бедный, упрямый, по-житейски умный мальчишка из Сосен выжидал...

– Надо любить ближнего, – шутливо вздохнул Прохоров. – Один болтлив, как я, другой... Когда вы, Юрий Сергеевич, решили жениться на Людмиле Гасиловой?

«Ни один мускул не дрогнул на его лице!» – насмешливо подумал Прохоров, наблюдая за Петуховым, который только слегка нахмурил брови.

– Это произошло двадцать четвертого февраля, – сказал Петухов с интонацией крестьянина, сопоставляющего день месяца с погодой или сельскохозяйственным сезоном. – Двадцать второго Петр Петрович пригласил меня отметить День Советской Армии, двадцать третьего была вечеринка, а утром... Да, это случилось двадцать четвертого февраля...

В общей сложности мальчишка из Сосен ждал праздника девять с половиной лет. Мало того, по данным следователя Сорокина, год из последних полутора лет Петухов не обращал никакого внимания на Людмилу Гасилову, вел себя целый год так безупречно, точно красавицы не существовало на белом свете.

– Еще вопрос! – извинительно произнес Прохоров. – Отчего свадьба не состоялась до сих пор?

– Проще простого! Мы свадьбу назначили на осень. Так хотела Людмила...

Конечно, когда ждешь девять с половиной лет, подождать еще полгода – пустяки-вареники. Впрочем, не так уж плохо ходить в женихах самой красивой девушки Сосновки, целоваться на тихих скамейках, простаивать ночи над рекой, по утрам звонить, шептать в трубку глупости... «В его годы, – вздохнув, подумал капитан, – телефонная трубка по утрам не кажется такой тяжелой, точно ее отлили из свинца...»

– Непонятно все-таки, – размышляюще сказал Прохоров, – непонятно все-таки, Юрий Сергеевич, как удалось Столетову протащить на комсомольском собрании хамскую резолюцию? Неужели только на эмоциях?

Петухов наконец переменял положение: выпрямился, расцепил руки, поправил галстук.

– Как секретарь комсомольской организации Столетов пользовался авторитетом, – ответил Петухов. – Он умел зажигать аудиторию.

Прохоров был уверен, что технорук почувствовал связь между вопросом о дне свадьбы и выступлением Столетова на комсомольском собрании, тоже протянул ниточку между Людмилой, собой, Петром Петровичем Гасиловым и Евгением Столетовым.

– Тогда мне остается задать только последний, самый простой вопрос...

Капитан уголовного розыска сделал несколько привычно заученных движений: повернул голову к яркому окну, на лицо нагнал скромное выражение, одно плечо опустил, второе поднял, спину заузил и ссутулил, правую руку по-наполеоновски сунул за борт пиджака.

– Что произошло на лесосеке двадцать второго мая? – спросил он. – О ссоре Заварзина и Столетова я знаю, о схватке Столетова и Гасилова мне тоже известно, что еще произошло или происходило?

Прохоров улыбнулся реке за окошком, когда подумал о том, что технорук Петухов из десяти пришедших на ум слов пользуется только одним – вот какой железной выдержкой обладал парнишка из брянской деревни! Однако из девяти произнесенных слов пять читались на его якобы непроницаемом лице, о двух можно было судить по смутной ассоциативной цепочке, одно слово уходило в трудную биографию технорука, а ложь ярко посверкивала в мнимой значительности пауз.

– Так что произошло на лесосеке, Юрий Сергеевич?

– Кроме перечисленного, ничего.

Надо было кончать разговор. Мысль Прохорова уже ходила по замкнутому кругу, а технорук Петухов произносил только одно слово из десяти, не унижаясь прямой ложью, врал тем, что скрывал главное – какие-то очень важные события на лесосеке.

– Спасибо, Юрий Сергеевич, – благодарно сказал Прохоров. – Я отнял у вас много времени.

Когда Петухов ушел, Прохоров задумчиво побродил по кабинету, приблизившись к окну, выглянул наружу, чтобы посмотреть, как удаляется полузагадочный технический руководитель Сосновского лесопункта. Нового он ничего не увидел и не понял. Слегка откинув назад голову, экономно размахивая руками, Петухов споро продвигался вперед по самым ровным и самым гладким доскам деревянного тротуара. Блестел изысканно иностранный костюм, солнце множилось в лакированных туфлях, подчеркнутая начальственностью спина двигалась в прекрасное Сегодня, в уверенное Завтра, школа, вуз, таежный лесопункт, леспромхоз в райцентре, гулкий коридор лесосплавного комбината; для начала тонкая деревянная дверь, покрытая скучной желтой краской, потом черный дерматин, стеклянная табличка с мелко написанной фамилией, а уж затем – двойные двери тамбура, четыре телефона, кнопка звонка, кресло...

Брянская область, Брянская область!.. На фоне колодца-журавля женские фигуры, усталый стук солдатских сапог, пожарища, трупы, голодные глаза... Многострадальная, милая ты моя Брянская область! С какой будничной жестокостью прошелся по тебе гусеничный ход мировой военной истории! Издавна мешочная и полуголодная, ты только в тридцатые годы начала подниматься на ноги, накормила было досыта баб и ребятишек, заплясала было веселая, советская, возле подновленных прясел, да так и недоплясала – покатилося по твоим знаменитым лесам эхо самой тяжелой войны в истории человечества. И это прошло!.. На исхудалых коровьих хребтах поднимала ты первую послевоенную борозду, припрягала к исковерканным немецким танкам многолемешные плуги, счастливая послевоенной надеждой, была сыта и картошкой без масла; шли годы, и за веру твою, за муки твои дождалась ты облегчения – пошли по деревенской грязи девчата в резиновых высоких сапогах, при шелковых кофточках, с румянцем на щеках, твердым и ярким. Купили твои молодожены скрипучие металлические кровати с пружинными сетками, бабы постарше оделись в полупальтишки из черного материала, похожего на бархат, мужики поменяли гимнастерки на пиджаки, а к телогрейкам уже кое-кто стал пришивать овчинные воротники, хотя далеко еще было до суконного демисезонного пальто.

Поднималась и деревенька Сосны, но много труднее росла она, чем соседние большие поселки. И обнаружили мужики и бабы, мальчишки и девчонки, что в стороне от шоссе-ных дорог, высоких заводских труб стоят родные Сосны, почувствовали пустое пространство, отделяющее их от космического века...

...Солидно шел по деревянному сибирскому тротуару технорук Петухов. Вот прощально сверкнули туфли, вот скрылся, вот исчез за поворотом. Улица сияла солнцем и зноем, возились в теплой пыли хохлатые курицы; высунув язык, сидела посереде дороги собака; а над всем этим, вздыбившись, приникая к небу, сливаясь с ним, млела маревом великая сибирская река Обь, широкая, как море. Вечным праздником веяло от реки, и ласково прильнувшая к ней деревня Сосновка была тоже праздничной, нарядной и молодой...

6

Вялый, ленивый, мутноглазый, сидел на белой раскладушке капитан Прохоров, рассматривал собственные руки, вяло, лениво и отстраненно раздумывал о том, что вот доживает в Сосновке третьи сутки, исходил деревню вдоль и поперек, перепробовал в орсовской столовой все закуски, перезнакомился с доброй половиной участников столетовского дела, а в рабочую форму так и не вошел. Мысль по сложной логической ниточке карабкалась с черепащей скоростью, ассоциации бедны и худосочны, об интуиции и вдохновении было смешно думать – мир казался плоским, примитивным, бесцветно-серым, как осенний бросовый денежек. Все удручало. Небо над Обью было откровенно голубым – это была не та голубизна; река являла собой вечернюю сиреневость – сиреневость была не той, нужной сиреневостью; ран-

нему месяцу на роду было положено казаться сквозным – с наличной просквоженностью дело обстояло исключительно плохо. Одним словом, чепухистика, прозябание, скукота, не жизнь, а тьфу!

– Можно войти?

Андрей Лузгин просунул в дверь налитое яблочное лицо, найдя Прохорова взглядом, улыбнулся. Чему? Уж не тому ли, что Прохорову надо подняться с раскладушки, найти стул для Андрея, усадить его, а потом выстраивать умное лицо, делать вид, что знаешь все, хотя ни черта не знаешь. А разговаривать? Кто будет разговаривать, когда сосновский Илья Муромец сядет на стул, еще раз улыбнувшись, обратит к Прохорову верующие глаза?

– Присаживайтесь, Андрей. Посумерничаем.

В пилипенковском кабинете на самом деле было сумеречно. Вот если бы под пистолетом, то Прохоров, наверное, поднялся бы с раскладушки, включил электрический свет, а так просто, без насилия – слуга покорный!.. Пусть Андрюшка Лузгин сам зажигает, если ему надо, а нам и так хорошо.

– Вы почему молчите, Андрей? – недовольно спросил Прохоров. – Привыкли уже к тому, что я болтаю, как нанятый... А?

Прохоров взял две подушки, приставив к стене, навалился спиной на их барскую мягкость, удовлетворенно хмыкнул: «Вот так и будем сидеть!» Если в жизни заведен такой порядок, что пожилые капитаны из областного управления должны работать за «высоколобых» следователей Сорокиных, то уж будем трудиться с комфортом – спину устроим так ловко, как умеет это делать технорук Петухов, распрекрасный туфель правой ноги выставим на всеобщее обозрение...

– Кто может показать, что Аркадий Заварзин, вернувшись в лесосеку, поехал обратно вместе с Евгением Столетовым на одной тормозной площадке?

Деревенский Добрыня Никитич сделал из лица печеное яблоко, так взволнованно завожился на стуле, что тот жалобно застонал.

– Второго июня у Никиты Суворова был день рождения, – сказал Лузгин. – Он здорово напился и за столом говорил, что... В общем, про Заварзина слышала Алена Брыль... Сплетница!

Прохоров неверяще прищурился:

– Ну вот! Никита Суворов напился, что-то говорил, слышала сплетница Алена Брыль... Дядя теткиного мужа сестры двоюродного брата...

Инспектор уголовного розыска, насмешливо поаплодировав самому себе, решительно поднялся с раскладушки, тремя крупными шагами подошел к двери, поднял уж было руку к выключателю, но остановился и свет не включил, хотя и сам не мог бы объяснить, что задержало его руку над выключателем, что заставило повернуться к Андрею.

В сумерках мучилось большое и сильное, искреннее и доброе, беспомощное и могучее. Андрюшка Лузгин корчился: сдержанный, сильный, сдавливал грудь руками, чтобы не так уж остро болело сердце. Уже больше месяца Андрей плохо спал по ночам, подолгу бродил по деревне, потерял в весе восемь килограммов; лучший друг Женьки Столетова за версту обходил дом погибшего, на похоронах брел в конце рыдающей толпы, к гробу Женьки так и не подошел.

– Эх, если бы я догадался не отпускать Заварзина до возвращения Женьки! – прошептал в темноте Андрей Лузгин. – Ну почему я его отпустил, когда мы приехали в Сосновку?

Наверное, от десятого уже человека Прохоров слышал, что ничего не случилось бы с Евгением Столетовым, если бы Андрей Лузгин не отпустил обратно в лесосеку бывшего уголовного Заварзина, – об этом говорил инспектор Пилипенко, следователь Сорокин, две женщины в орсовском магазине, удильщик на обском берегу, мальчишка, наклеивающий на доску объявлений афишу фильма «Белое солнце пустыни», словоохотливый старик из числа скаме-

ечных сидельцев. Одним словом, вся деревня считала: нельзя было отпускать обратно на лесосеку Заварзина!

– Эх, если бы я догадался!

Ночное светило напоминало ковригу с откушенной горбушкой, было по-настоящему прозрачным, пятна на лунной поверхности образовывали вздорное, скучное старушечье лицо, по кабинету распространялся бледный свет. По-прежнему мучился на стуле парень, считающий себя убийцей друга, ибо логика была проста и жестока: скажи Андрей Лузгин бывшему уголовнику «Останься!», дождись минуты, когда на станции Сосновка – Нижний склад сойдет с опасной подножки Женька Столетов, – не стоял бы возле выключателя капитан Прохоров, не было бы холмика сырой земли на деревенском кладбище.

– Не буду включать электричество, – опуская руку, сказал Прохоров. – Бог с ним, с электричеством...

Приподняв плечи, капитан неслышно прогулялся по диагонали квадратной комнаты, стараясь не смотреть на Андрея, опустился снова на раскладушку, мирно затих... Он мысленно всматривался в почерк белобрысой девчушки, писавшей протокол знаменитого комсомольского собрания, представлял ее глаза, нос, брови. У буквы «з» был мужской энергичный завиток, буквы «ч» и «г» были по-женски неразличимы – им не хватало решительной отъединенности, слова друг от друга стояли далеко, точно писавшая разделяла их длинным вздохом.

– Глазоники бы мои не смотрели на эту расчудесную луну! – насмешливо сказал Прохоров. – Как только гляну на нее, так – нате вам! – думаю о Соне Луниной... Она действительно белобрысая?

Во! Повесть о дикой собаке динго и первой любви... «Показания Луниной Софьи Васильевны дают основания полагать о наличии любовного чувства к ней со стороны Лузгина Андрея Григорьевича». Это следователь Сорокин...

Прохоров открыл глаза.

– Меня все-таки интересуют отношения Евгения Столетова, Анны Лукьяненко и... – Прохоров помолчал. – Что произошло в клубе на новогоднем празднике?

Андрей не пошевелился. Он жил в сложном мире вечера двадцать второго мая, все никак не мог сойти с подножки вагона в предновогодний клуб, и даже имя Сони Луниной не выбило его из страданий: корчился на стуле, сжимал по-прежнему грудь могучими руками, остановившиеся глаза отражали мертвенный лунный свет.

– Двадцать второго мая Женьку нельзя было оставлять одного! – прошептал Лузгин.

Прохоров насторожился:

– Почему именно двадцать второго мая?

И случилось то же самое, что на лесосеке: парень мгновенно замкнулся. Смотрел на капитана исподлобья, взволнованный, был таким, что, пытай огнем, пали железом, мори голодом, не скажет, что произошло на лесосеке двадцать второго мая. А ведь день был особенным, ключевым для всего столетовского дела!

– Что происходило, Андрей? – скучным от безнадежности голосом повторил Прохоров. – Поймите, от меня ничего скрывать нельзя. Что случилось?

Никакой реакции.

– Еще раз спрашиваю, Андрей, что случилось?

Как горохом об стенку...

– Что вы от меня скрываете?

– Ничего!

Ну, слава богу! Хоть словечко произнес, хоть губы пухлые разжал! Разозленный Прохоров мысленно послал Лузгина к черту, понимая, что за упрямым молчанием парня скрывается серьезное, если не главное!

– А ну, расскажите-ка о новогоднем вечере, Андрей Лузгин! Расскажите-ка все подробненько, обстоятельно, словно, знаете ли, на духу... И не забывайте, пожалуйста, товарищ Лузгин, что говорите с инспектором уголовного розыска!

Ага! Вздохнули, потупились, заробели? Ну?!

– Ничего особенного тогда не произошло, – тихо сказал Лузгин. – Был обыкновенный бал-маскарад... Мы опоздали немножко, а когда притащились, то веселье било бодрым ключом...

За пять месяцев до происшествия

...был обыкновенный деревенский бал-маскарад; в новогоднем клубе веселье действительно било бодрым ключом: наявивал без нот духовой оркестр, стояла посередь зала ширококronистая красавица лучших елочных кровей, горели разноцветные лампочки, крутился под потолком многогранный матовый фонарь. По клубу запылошно носился заведующий с мушкетерской бородкой, у входных дверей стоял свечечкой участковый Пилипенко, пьяных налицо еще не виделось, вокруг елки танцевали девчата с девчатами, парни отсиживались на скамейках, исключая трех студентов, приехавших в деревню на каникулы, – эти на кедровом прекрасном полу работали старательно.

Опоздав минут на двадцать к началу торжества, четверо друзей – Женька Столетов, Андрюшка Лузгин, Генка Попов и Борька Маслов – ввалились в разноцветный клуб сплоченно: оттеснили в сторону величественного Пилипенко, остановившись у края танцевального круга боевой шеренгой, обхватили руками друг друга за плечи, ноги широко расставили, глаза сделали строгими: «Ну, как вы здесь? Веселитесь?»

– А почему без красных повязок? – прицепился участковый. – Сами же, комсомол, организовали встречу Нового года... Где повязки?

– В карманах! – ответил Женька. – Новый год объявлен... В карманах.

Аркадия Заварзина в клубе не оказалось, не было среди танцующих и сидящих Людмилы Гасиловой, а Соня Лунина тихонечко танцевала «На сопках Маньчжурии» с двоюродной сестрой Катей; сидели на скамейке с наглыми лицами чокеровщики Пашка и Витька, демобилизованный солдат Мишка Кочнев шушукался с молодой женой, на большинстве сосновцев были большие маски из папье-маше, оптом закупленные заведующим клубом несколько лет назад. Этих масок в наличии имелось сорок, и час назад в кабинете завклубом, где распределялись маски, можно было услышать: «Постойте, Михеев, вы же в прошлом году были овцой. Как вам не ай-яй-яй нынче отказываться от свиньи?»

Танцевали и сидели на скамейках клоунские носы и лисьи пасти, медвежьи рыла и свиные пятаки, крокодильи зубы и клювы попугаев. Все это кружилось, хохотало, паясничало, и, конечно, весь маскарадный табор узнавался сразу: под свиньячьей мордой танцевал костюм Михеева, крокодилью пасть расконспирировали полосатые брюки деревенского аптекаря Гуляева, лисья мордочка досталась длинным ногам и узким бедрам Алены Брыль – сплетницы.

– Сели! – сказал Женька.

Четверо заняли скамейку возле дверей; скрестили руки на груди, положили ногу на ногу, подбородки задрали, прищурились; на них были одинаковые черные костюмы, на белых нейлоновых сорочках – одинаковые бордовые галстуки, часы – с одинаковыми полосатыми ремешками. Они в Сосновке славились давнишней преданной дружбой, всегда и везде ходили вместе, а когда сидели рядом в черных костюмах, чем-то походили друг на друга – то ли насмешливым выражением глаз, то ли ироническими губами, то ли уверенным разворотом плеч. Длинновязый и коротконосый Женька Столетов, могучий и спокойный Андрюшка Лузгин, сосредоточенный, будто всегда что-то считающий Борька Маслов, высокомерный и холодный Генка Попов – они сейчас смотрели на веселящийся зал одинаковыми глазами.

Прошло несколько молчаливых минут.

– Я тоже хочу быть охваченным всеобщей радостью! – задумчиво заявил Генка Попов.

Трое неторопливо повернулись к нему, покивав, стали печально глядеть друг на друга и пожимать плечами. Они не торопились с ответом, размышляли долго, зрело, потом Борька Маслов озабоченно спросил:

– Вам хочется интеллектуального общения или бездумного смехачества? А может быть, налицо уклон в животную страсть?

– Мне хочется бездумного смехачества! – нехотя сознался Генка Попов. – Что вы предлагаете?

– Феньку Бурмистрову! – важно сказал Женька Столетов. – Думаю, что под лошадиной мордой скрывается нужное нам бодрое смехачество.

Генка Попов приуныл.

– Она меня свяжет по рукам и ногам! – после длинной трагической паузы прошептал он. – Только балбесам Столетову и Лузгину неизвестно, что на женской косе можно поднять нагруженную железнодорожную платформу...

Духовой оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии», учительница начальных классов Бурмистрова танцевала с подружкой в центре круга, и вокруг нее темной каруселью вращались удивительные косы – в мужскую руку толщиной, иссиня-черные, такие длинные, что достигали тонких щиколоток, а под унылой лошадиной мордой-маской действительно скрывалось лицо веселой, добродушной, разбитной девицы.

– Нет, нет! Не могу! – загораживаясь ладонями, сказал Генка Попов. – Коса – это как раз то, что способно погубить гениального физика! Мировое общественное мнение не простит тебя, Столетов!..

Между тем веселье продолжалось. Отыграв положенное количество танцев, ушел на отдых духовой оркестр, и после короткого перерыва заиграла клубная радиолка. Пластинка оказалась современной: надрывался саксофон, по-совиному ухал тромбон, флейта взвизгивала, как девчонка, увидевшая мышь. Парни несколько секунд слушали музыку спокойно, потом незаметно для самих себя начали легонько притопывать каблуками, подпевать радиолке, изгибаться и двигать бровями. Затем они расцепили руки, скрещенные на груди, как бы разделившись, сделавшись каждый сам по себе, начали все убыстряться и убыстряться, словно их обтекало высокое напряжение электрического поля; схваченные ритмами двадцатого века, они, чудилось, медленно превращались в мерцающие панели электронно-вычислительных машин. Находясь в непрерывном движении, мелко вздрагивая, струясь и переливаясь блестящей материей черных костюмов, вспыхивая белизной рубашек, бордовыми огоньками галстуков, белыми зубами, цветными носками, парни то включали, то выключали крохотные части собственного тела, отрешенные от реальности, все больше проникались механичностью, высокой напряженностью – мерцали на черных панелях затаенно-страстные огоньки, металлись зигзаги локаторных экранов, выли и стонали горячие трансформаторы; зеленое, красное, белое... Двадцатый век!

Гудели прибором морские раковины, верещали сладкими голосами дебри африканских джунглей, оставляя длинный росчерк реверсионного следа, с гулом гибнущей Помпеи вывинчивался из атмосферы ракетносец... Летели медленные пули в президента Кеннеди и негра Кинга, на стальные лопатки турбин Братской ГЭС обрушивалась бешеная ангарская вода, неторопливо шел по ковровой дорожке Юрий Гагарин...

Двадцатый век!

Четверо парней танцевали сидя. Они потеряли ощущение времени, места. Первым поднялся со скамейки Генка Попов, продолжая вздрагивать, вычурно извиваться, мерцать глазами-лампочками, двинулся к Феньке Бурмистровой, которая тоже уже дрожала и струилась; не дождавшись кавалера, сбросив почему-то с круглого лица лошадиную маску, щелкала паль-

цами, ввинчивала длинные металлические каблуки в деревянный пол сосновского клуба. Вторым поднялся Женька Столетов, мотаясь из стороны в сторону, двинулся навстречу Соне Луниной – потом Борька Маслов, Андрюшка Лузгин...

Целомудренно обнажались сильные женские ноги, дерзко глядели на партнеров полуобнаженные груди, как на картинах фламандцев; среди танцующей восьмерки вообще не было ни женщин, ни мужчин – музыка, отрешенность, боль и радость века, надежда и отчаяние; вчера, сегодня и завтра...

На танцующую восьмерку глядели с завистью и презрением, с ревностью и злостью, с восхищением и негодованием, с восторгом и тупой неприязнью.

Восьмерка танцевала. Отделенный от Сони Луниной трехметровой дальностью, изгибался и «давил окурки» на полу Женька Столетов, побежденно опускал ресницы Генка Попов, когда косы Феньки Бурмистровой ударяли его по раскинутым рукам, издевательски кривил губы, многозначительно подмигивал партнерше Борька Маслов, улыбался Андрюшка Лузгин. Было весело, лихо, тревожно.

Когда сумасшедший танец кончился, когда музыка оборвалась так резко, точно радиолу накрыли подушкой, и наступила тишина, восьмерка танцующих замедлилась и, остановившись окончательно, замерла с такими лицами, словно только сейчас поняла, что произошло... Переливались разноцветные огни елки, вращался под потолком блестящий шар...

– Спасибо, Соня! – раздался в тишине голос Женьки Столетова. – Спасибо!

Парни подали руки девушкам, осторожно повели их на прежние места... Зал тоже приходил в себя: нервно засмеялись столетовские чокеровщики Пашка и Витька, две пожилые девицы наконец-то решились без смущения посмотреть друг на друга – так им было стыдно за восьмерку, а участковый инспектор Пилипенко по-прежнему был занят только Пашкой и Витькой, которые опять пошумливали и вполголоса матерились, изображая очень пьяных тружеников леса. Еще немного погода на скамейках послышался смех, через весь клубный зал пробежал заполошный заведующий – организовал опять духовой оркестр...

– Я люблю тебя, Женька! – вполголоса сказала Соня Лунина, когда он проводил ее на прежнее место. – Я по-прежнему люблю тебя...

Возбужденная танцем, вся еще переливаясь и дрожа, девушка дерзко глядела в Женькины глаза, и Женька сжался, потерянно улыбнулся:

– Соня!

Слова девушки наверняка слышали Андрюшка Лузгин, Сонины двоюродная сестра, две пожилые девушки; и Женьке казалось, что клубный зал, словно темнотой, наполнялся несчастьем, бедой, ощущением неустроенности. Темнело так заметно, что Женька затравленно огляделся.

– Иди, иди! – с улыбкой сказала Соня. Сутулый, несчастный, Женька вернулся к ребятам, насильственно улыбнувшись, растолкал их, чтобы сесть рядом с Андрюшкой Лузгиным.

Духовой оркестр, вспомнив молодость заполошного заведующего клубом, играл танго «Брызги шампанского», сам заведующий дул в золотистую трубу, глядел на ее раскачивающийся конец пустыми глазами. Скамейки быстро пустели, зал наполнялся движением и головами, топотом ног и скрипом пола, выкриками чокеровщиков Пашки и Витьки, но для Женьки Столетова в клубе по-прежнему было темно, как в доме перед грозой, а веселая Соня Лунина танцевала с двоюродной сестрой, на Женьку Столетова не глядела, была счастлива, как первоклашка на каникулах.

В середине танца Женька почувствовал, как в том углу клуба, где свечкой стоял участковый Пилипенко, все вдруг посветлело, задвигалось, зашумело – это вошла в двери вдова Анна Лукьяненко. Сначала увиделось блестящее парчовое платье, потом проплыла величественная, гладко причесанная голова, возникли глаза, сразу же нашедшие Женьку Столетова в переполненном клубе, глаза под выгнутыми бровями, в которые было страшно глядеть.

– Пойдем ко мне, Женя! – подсев к Женьке, сказала вдова. – Новый год я хочу встретить с тобой... Ты все равно придешь... Пошли сейчас!

А за спиной участкового Пилипенко по прихотливой воле случая опять образовалась густая пустота, зияющий провал, среди которого отдельная, в костюме «домино» стояла Людмила Гасилова – третья женщина в короткой жизни Евгения Столетова. От нее веяло родной безмятежностью, тишиной, солнечным лугом, на котором паслись рыжие кони; ленивый наклон головы, беспомощные руки вдоль тонкой фигуры. Людмила!

– Прощай пока, милый! – добродушно засмеявшись, сказала Анна Лукьяnenок. – Пойду инженеров мучить...

Анна лениво поднялась, не замечая Людмилу Гасилову, пошла грудью, глазами, бедрами, плечами на участкового Пилипенко, оттеснив его в темный угол, вдруг оскалила зубы, бережно подняв руку, на глазах у Людмилы слабо подвигала в воздухе ладошкой. «Прощай, Женя! Прощай пока!»

Людмила стояла на месте, никуда не стремилась, ничего не хотела, никуда не глядела, ничего не слышала и только тихонечко покачивалась, точно ее шатало слабым теплым ветром, каким – неизвестно: обским ли, волжским ли, днестровским ли... Не все ли равно ей, Людмиле Петровне Гасиловой!

Женька вдруг крепкими пальцами схватил за плечо Андрюшку Лузгина, сдавив до боли, шепотом попросил идти за ним, не дождавшись согласия, стремительно двинулся к запасным клубным дверям падающей вперед походкой – качались перед глазами Андрюшки сутулые плечи, незащищенно круглел затылок, жалкий вихор висел над ухом, спина казалась узкой, как у дряхлой лошади. Короткий дверной тамбур, удар ноги по заиндедевшей двери, грохот сброшенного с петли крючка, скрип мерзлых половиц, морозный туман...

– Простудимся, Женька!

– Плевать!

Ярко светила новогодняя ночь, накатанная дорога тракторной колеей уходила ввысь, луна судорожно цеплялась за небо растопыренными лучами; снег походил на нафталин, казался неживым, придуманным.

– Позвольте представиться: Евгений Столетов – подлец из подлецов! – высокопарно произнес Женька.

Короткая пауза, суетливое движение длинных рук, гримаса отчаяния:

– Я действительно подлец, Андрюшка!.. Люблю Людмилу, а танцую с Соней... Люблю Людмилу, а тянет меня к Анне Лукьяnenок... Я ее вижу во сне, Андрюшка! Мне стыдно просыпаться утром... Я подлец, сволочь, подонок...

Жесткий мороз хватал за уши, луна уже цеплялась за легкую тучку...

...Отстраненно вздохнув, Андрюшка Лузгин понурился, перебирая пальцами медную монету, глядел в темный угол милицейской комнаты, в котором таилась такая же опасная темнота, как в том клубном углу, где стояла, покачиваясь на теплом ветре всех широт, бледнолицая Людмила Гасилова. Жизнь была сложна: любить одну, видеть во сне другую, танцевать с третьей... Где начало? Где конец?

– Женька Соню не любил... Он любил... Я не знаю, кого он любил, хотя думал жениться на Людмиле... А потом говорил: «Это как умереть!»

Между тем сам Андрей Лузгин любил Соню Лунину.

А в областном городе в этот час ходила по тесной комнате женщина с вызывающе жалкими уголками губ. При встрече с ней капитан Прохоров угасал, садился на низкую кушетку, не отрывая глаз от тлеющего кончика ее сигареты, думал: «Красивая женщина!» Она ненавидела майоров всех родов войск и служб.

– Заварзин был в клубе? – деловито спросил Прохоров. – Или так и не появился?

– Так и не появился...

Луна висела очень высоко над обским левобережьем, уже понемножечку уменьшалась, тускнела потихонечку; в лесопунктовской конюшне вдруг по-ночному тревожно заржал сонный жеребец Рогдай. Потом залаяли сразу три собаки, проблеяла где-то молодая овца. Ночь была уже, самая настоящая ночь...

7

В синем ельнике тревожно смеялись девчата, постанывала неуверенная гитара, светлячками вспыхивали огоньки папирос, и Бог знает почему от всего этого сжималось сердце. Думалось о молодости и старости, хотелось неизвестно чего: то ли забраться в ельник, то ли вернуться на раскладушку, чтобы в тишине и одиночестве улеглось беспокойство. Лунная Обь, гитара, девичий смех, желтые фонарики шишек на елках, сладкая тоска строк: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он...», а потом и страшное: «...другой поэт по ней пройдет...» В груди пусто, точно нет сердца... Прохоров, опустив голову, шел по пыльной дороге; съездившийся, казался маленьким, щуплым; короткий подбородок прижат к шее. Шаги удаляли его от ельника, гитара утишивалась, спина чувствовала, как гаснет белый свет на кладбищенских крестах, но ощущение тревоги не проходило.

Между тем второй Прохоров, то есть капитан уголовного розыска, не обращающий внимания на выкрутасы первого Прохорова, отыскал дом за номером семь по Октябрьской улице и, оказываясь, давным-давно, покачиваясь на каблуках, стоял против искомого объекта. Именно возле дома преподавателя истории Викентия Алексеевича Ради́на, по рассказам участкового инспектора Пилипенко, росли голубые ели, торчали высокие шесты со скворечниками, в доме были преувеличенно широкие окна и незастекленная веранда.

Прохоров подошел к калитке, собрался было притронуться к металлической задвижке, но по веранде прошаркали ноги, заскрипели половицы, и – хорошо освещенная луной – в проеме крыльца возникла фигура высокого человека с закинутой назад головой и такими линиями шеи и плеч, словно человек постоянно к чему-то прислушивался, чего-то ждал и от этого походил на локатор, медленно вращающийся в таинственности высокого неба. Совершив полукруг, человек замер, потом спросил хрипловатым голосом:

– Товарищ Прохоров?

– Да, Викентий Алексеевич. Здравствуйте!

– Здравствуйте, товарищ Прохоров! Прощу!

Дождавшись, когда капитан Прохоров приблизится, Викентий Алексеевич уверенно пошел по темной веранде, странно размахнувшись, как бы со всего плеча, широко распахнул домовую дверь – яркий электрический свет полосой лег под ноги, и Прохоров попал сначала в коридор, затем – в комнату, казавшуюся огромной оттого, что в ней не было ничего, кроме стола и двух стульев. В центре потолка солнечно сверкала огромная электрическая лампочка без абажура – провод и патрон.

Викентий Алексеевич Радин был слеп; на том месте, где у всякого человека блестели драгоценные скорлупки роговой оболочки, у него морщинулась плохо зарубцевавшаяся фиолетовая кожа, и надо было обладать воображением, чтобы увидеть, как хорошо интеллигентное, узколобое, чуточку широкоскулое лицо учителя без того напряженного выражения, которое свойственно лицам большинства слепых. Закинутая вверх голова, локаторные линии шеи и плеч делали учителя устремленным вверх, как бы отлетающим.

– Ну-с, разглядели меня, товарищ Прохоров? – громко спросил Радин и улыбнулся так, что кожа на глазницах сделалась ровной. – Вас зовут-величают?.. Садитесь! Будьте как дома... Лида! У нас гость!

В комнату вошла маленькая женщина с гладко зачесанными назад волосами. Она была лет на десять моложе Радина: востренько торчал пикантный носик, под свободным платьем угадывалась тонкая талия. Когда она открыла дверь, Прохоров увидел просторную спальню, ковры, затейливый торшер с тремя ножками и тремя абажурами – розовым, зеленым и синим и уж после этого заметил, что и стены пустого кабинета были покрашены в те же цвета – розовый, зеленый, синий.

– Меня зовут Лидия Анисимовна... Кофе, водки, чаю?

Прохоров хмыкнул.

– Водки! – вдруг отважно ответил он. – С чаем, а?

– Пойдет!

Лидия Анисимовна спокойно удалилась, оставив в кабинете легкий запах славных духов и глухую картавость мягкой речи: как бы зажеванные губами нотки. Она преподавала в средней школе английский язык, и Пилипенко восторгался: «По-иностранному чешет, как порусски. Два раза в Англии была!»

Лидия Анисимовна вернулась с ярким подносом в руках, поставила на стол графинчик водки, колбасу, холодное мясо, свежие огурцы и помидоры, толсто нарезанное сало, селедку с луком. Вилки и ножи она положила на полотняные салфетки; одна из них была розовой, вторая – синей, третья – зеленой. Убедившись, что ничего не забыто, Лидия Анисимовна приветственно помахала маленькой рукой:

– Меня нет, товарищи мужчины!.. К прогулке я вернусь, Викентий.

Викентий Алексеевич уже сидел за столом, розовая салфетка лежала возле его правого локтя, зеленая – слева, синяя – в центре. Услышав, что Прохоров тоже сел, слепой безошибочно протянул руку к графину, стал наливать водку в две пузатые стопки; бог знает чем руководствуясь, Викентий Алексеевич налил их до краев, ни капельки не пролив, вернул графин на место.

– Люблю водку! – бережно сказал он. – В умелых руках – чудо! Но вот прекурьзная вещь... Водка отнюдь не выполняет той главной роли, которую ей приписывает большинство пьющих, – не служит утешительницей... А? Каково? Водка может быть чем хотите... Колокольным звоном может быть, но не утешительницей! Приемлем все-таки, Александр Матвеевич?

– С радостью!

Прохоров выпил, поставил пустую стопку на скатерть, длинно подумал: «Та-а-а-к!» Ходила минуту назад по стерильно чистому полу женщина с английской раскатистой ноткой на губах, пузырями вздувались на громадных окнах разноцветные занавески – синие, зеленые и розовые; стояли под пятисотсвечовой голой лампочкой странно окрашенные стены – синяя, зеленая, розовая. «Меня нет, товарищи мужчины... К прогулке я вернусь, Викентий». Молодой шорох материи, над супружескими кроватями «Маха обнаженная», высокий торшер – синий, зеленый, розовый; на толстом ковре нежится пушистая кошка с лениво прижмуренными глазами.

Викентий Алексеевич похрустывал молодыми огурчиками. Прохоров тоже вонзил зубы в облитый желтым жиром кусок холодного мяса, и оно оказалось вкусным, как раз таким, какое он любил; потом съел большой кусок сала, пахнущего чесноком и укропом, – тоже ничего себе: вкусно, ароматно, отлично насыщает.

– Я, пожалуй, начну, – сказал Викентий Алексеевич. – Вы получили мое письмо, но, думаю, нужны комментарии... Видите ли, Александр Матвеевич, у меня нет оснований считать смерть моего ученика и друга случайной...

Когда он говорил, кожа в глазницах разглаживалась, теряла сухой блеск, и лицо как бы выравнивалось: исчезали тени, делающие глазницы пустыми. Высокий голос был учительски приподнят, и Прохоров вдруг широко улыбнулся, подмигнув самому себе, начал устраиваться

на стуле с комфортабельностью технорука Петухова: разобрался с ногами, отыскал удобное положение для спины, с головой обошелся наиболее бережно – предоставил ей отдых.

– Евгения нельзя было сбросить с подножки! – решительно заявил Викентий Алексеевич. – Он сам был из тех, кто сбра-а-а-асывает... Весьма неразумно также полагать, что Евгений не мог сам сорваться с подножки... Обладая импульсивным, увлекающимся характером, мой ученик часто предпочитал необдуманные поступки рациональным...

Черт знает, как было хорошо, уютно! Очень долго держался в воздухе запах неизвестных духов, разноцветные стены казались ласковыми, мягкими, не мешали, и яркий свет – ничего!

– Деревня есть деревня, – улыбнулся Радин. – Мне ведомо, Александр Матвеевич, что вы пристально занимаетесь личностью моего безвременно погибшего ученика и друга... Значит, хотите знать и мое мнение... Так вот! Столетова я воспринимал как красный цвет...

Он хрипло засмеялся и замолк, словно для того, чтобы Прохоров мог неторопливо подсчитать шансы на успех. Во-первых, не было уже никаких сомнений в том, что учитель Радин – сильный человек; во-вторых, репликой о красном цвете, разноцветными стенами, салфетками, торшерами Викентий Алексеевич поддерживал надежды Прохорова на успешное окончание столетовского дела, которое теперь – так интуитивно предчувствовал капитан – зависело только от слепого учителя Радина. Вот и дальнейшие слова Викентия Алексеевича оказались нужными.

– Вы, наверное, обратили внимание, Александр Матвеевич, на разноцветные салфетки, занавески, стены... – сказал он. – Это сделано для того, чтобы я мог ориентироваться по цвету... Сейчас я густо чувствую розовость салфетки, и, знаете: меня неудержимо тянет пощупать ее. Так за чем дело стало? Пощупаю!

Они одинаково улыбнулись, когда Викентий Алексеевич положил пальцы на салфетку, ласково погладил ее: «Розовая, теплая!» После этого стало тихо, и Прохоров подумал, что он поступает нечестно, когда беспрепятственно – без ответного взгляда – наблюдает за лицом слепого человека. Прохоров покраснел, потеряв вальяжность, осторожно заерзал на стуле, а Викентий Алексеевич сделал губами такое движение, словно сдувал со щеки муху.

– Если вам это интересно, Александр Матвеевич, то... Андрея Лузгина я воспринимаю как голубой цвет, технорука Петухова – вижу серым, Людмилу Гасилову – зеленой, Анну Лукьяненко – бордовой, Соню Лунину – розовой... – Он забавно сморщил губы. – О, в деревне тайн нет! Петухов только садился на стул в кабинете Пилипенко, а мне уже было известно, что «милиция заарестовала анжинера»...

В этой трехцветной комнате, оказывается, тоже вели следствие: учитель следил за каждым шагом Прохорова, мысль Викентия Алексеевича шла примерно теми же ходами, что и прохоровская, ассоциации были тождественными, и Прохоров быстро спросил:

– Как воспринимается Петр Петрович Гасилов?

Викентий Алексеевич замер, притаился.

– Гасилов мною в цвете не воспринимается! – тихо произнес он. – Да, да. Гасилов тот человек, мимо которого можно пройти, не заметив!.. Что с вами, Александр Матвеевич?

Прохоров подул на кончики пальцев.

– Вот уж этого я вам не скажу, Викентий Алексеевич... Как вам не стыдно знать больше милицейского крючка?

Было тихо, как в глубоком колодце, пятисотсвечовая лампочка пощелкивала, погуживала, огромные окна были черны, разноцветные стены воспринимались стрелкой компаса.

– Поразительно! – задумчиво сказал Радин. – Гасилов не воспринимается в цвете, но у него умное, сосредоточенное тело... Весьма желательно, Александр Матвеевич, чтобы вы не пропустили мимо ушей мои сугубо специфические рассуждения о теле Петра свет Петровича... Это, пожалуй, единственное, что он передал вместе с генами дочери... Некий пошляк из школьной учительской о Людмиле сказал: «Не тело, а Божественная поэма!»

Закинутое лицо Викентия Алексеевича повернулось к лампочке, как подсолнух к солнцу, пальцы опять нашли розовую салфетку.

– Младший лейтенант Пилипенко – мой племянник! – засмеялся Радин. – Пришел взволнованный, злой, черный и выпросил два тома «Тысячи и одной ночи»... Заморочили вы ему голову с вашим: «И это все о нем!» ...Ну-с, а теперь, благословясь, поедem... Как пишут в старинных романах, стояла дружная весна, цвела черемуха, и солнце не только светило, но и грело...

За шесть лет до происшествия

...цвела черемуха, стояла ранняя весна, солнце светило, грело, и Женька Столетов впервые почувствовал, что черемуха пахнет не только черемухой, а лунные ночи могут причинять такую боль, словно в грудь вонзается тонкий нож. Ледяные сосульки пахли волосами Людмилы Гасиловой, сердце обрывалось и летело в пустоту, когда ржали на конюшне кони, собачий лай по ночам раздавливал грудь тоской, пугали самые простые вещи – на уроке физики он вдруг побледнел при виде пустой стеклянной колбы, а по дороге домой похолодел оттого, что ступил резиновым сапогом в голубую лужицу, а однажды...

...однажды под вечер, когда солнце ушло за голубые верети и сиреневые тени катились по деревне, когда радиоприемник в комнате матери скликал тоску скрипкой, а за соседней стенкой кашлял дед, Женька дочитывал последние страницы романа Гюго «93-й год»... Уже отсасывал суд, обвинивший Гавена, уже его учитель и друг сказал роковые слова, уже готовилась гильотина. Не ведая беды, Женька перевернул последнюю страницу, вздохнув протяжно, дочитал роман до последней точки.

На потолке догорал розовый отблеск солнца, трещинки и линии на толстом слое известки образовывали знакомую тигриную морду с прижатыми ушами, торчал дурацкий неизвестно для чего и кем вколоченный в потолок гвоздь. «Я тоже умру!» – спокойно подумал Женька... Прошла секунда, вторая, третья – в комнате произошла какая-то смутная, незаметная перемена, хотя все оставалось на местах: отблески заката, трещины на потолке, гвоздь.

«Я тоже умру!»

С перехваченным горлом, неподвижный, Женька разминал пальцами шейные мускулы, чтобы хватить хоть маленький глоток воздуха, потом тонко закричал и все-таки на несколько мгновений потерялся в темноте... Он пришел в себя от прикосновения холодного стекла. Граненый стакан плясал у стиснутых губ, перевернутое, мерцало лицо матери, сбоку торчала рыжая борода деда, бледнела щека отчима.

В комнате было так же темно и так же пахло лекарствами, как бывало, когда он болел корью и мать занавешивала плотными шторами окна.

– Женька, Женька!

Он послушно взял в губы дрожащий край стакана, отпил несколько глотков воды.

– Смотри-ка ты, – удивленно сказал он. – Я никак в обморок брякнулся...

Родители облегченно улыбнулись, мать, вздохнув, хотела что-то сказать, но отчим положил ей руку на плечо, дед оглушительно прокашлялся.

– Спокойной ночи, Женька!

Весь вечер и бессонную ночь Женька боялся вспоминать о романе; всю ночь на столе горела настольная лампа – то затуманивалась, то вспыхивала ярко, когда на электростанции менялась нагрузка. У воображаемого тигра на потолке хищно торчали клыки.

Утром, опаздывая в школу, Женька испытывал необычное: все на свете казалось уменьшившимся. Он посмотрел на клуб – маленький и ветхий; перебросил взгляд на особняк Гасилова, казавшийся раньше огромным, – клетушка; заинтересовался школой – ее необычная для

Сосновки двухэтажность показалась придуманной, и Обь была не такой широкой, как вчера, и небо опустилось до антенн.

С классом произошло то же самое. Он показался маленьким и низким, окна – крошечными, черная доска – небольшой, и очень маленькой, птичьей показалась голова Людмилы Гасиловой, хотя солнце освещало пышные, высокие волосы, была красивой крепкая шея над девственными кружавчиками школьной формы.

Ровно через три минуты после звонка в класс изящно впорхнул преподаватель литературы Борис Владимирович Сапожников, молодой, белокурый, с нежной улыбкой на квадратном лице – кумир девчонок девятого и десятого классов.

– Доброе утро, друзья мои! Весна на дворе. Настоящая весна.

В раскрытые настежь окна на самом деле струился весенний пестрый воздух, на высоких тополях собирались раскрыться надтреснутые почки, над кромкой сосняка вращалось аккуратное солнце; пахло озоном, парты празднично желтели, на черной доске лежали веселые молодые блики, и все это было так свежо, так по-утреннему первозданно, что Женька облегченно вздохнул: «Обойдется!»

– Валентина Терентьева! Извольте отвечать!

Терентьева у доски всегда терялась, зная урок, путалась, и Женька опустил голову, стараясь не слушать, задумался – вспомнился вчерашний день, а среди всего – чалый жеребенок. Заблудившись, потеряв мать – пожилую кобылу Киску, жеребенок распластывался над землей длинным телом и тонкими ногами; летели – отдельно от него – грива и хвост, с лакированных копыт падали яркие капли весенней воды... Потом по тем же лужам, не разбирая дороги, прошел пьяный дядя Артемий – сторож при лесопунктовском гараже, – увидев Женьку, сказал загадочно: «Палка-то, она о двух концах, язви ее, о двух концах!»

– Хорошо, садитесь, садитесь!

Преподаватель литературы Борис Владимирович прошелся возле доски, красивым движением головы закинув назад волосы, спрятал руки за спину, чтобы не делать жестов. «Жестикация, друзья мои, обедняет речь...» У него действительно был ясный, высокий лоб, глаза улыбались дерзко; когда Борис Владимирович читал стихи Блока, у девчонок сохли губы.

– Не удивляйтесь, товарищи, если я в трактовке образов Евгения Онегина и Ленского буду придерживаться несколько иной точки зрения, нежели вы найдете в учебнике! – насмешливо сказал преподаватель. – Позвольте ваше молчание считать согласием...

Женька притих. Он любил именно вот такие начала уроков, по-мальчишечьи восхищался необычностью молодого литератора, не дышал, когда Борис Владимирович говорил: «В учебнике – для экзаменов, в классе – для души!»

– Общепринятая точка зрения такова... Евгений Онегин рассматривается как типичный продукт эпохи, превратившей его в так называемого лишнего человека... А вот что до меня, то мне Онегин кажется пре-е-л-е-стным...

Борис Владимирович неторопливо прошествовал между партами, повернувшись на каблучках, прислонился спиной к стене в метре от Женьки. Пахнуло запахом крепкого одеколона, рядом с Женькиным плечом повисла тонкая кисть руки с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце; рука была нежная и белая; длинные, аккуратно подстриженные ногти казались девичьими, мизинец был оттопырен, как у женщины, держащей стакан.

– Самолюбивая посредственность Ленский, – со вкусом проговорил Борис Владимирович, – настолько масштабно незначительнее Онегина, насколько яркая личность крупнее полного отсутствия личности!

Он отправился в обратный путь между партами.

– Поймите, друзья мои! Лиричность, способность любить, увлеченность, поэтичность Ленского блекнут в сравнении с онегинским умом, волей, презрением к смерти, знанием человека и его слабостей...

Женька жадно глядел в удаляющуюся спину учителя, незаметно для самого себя наклонился вперед, вытягивал шею. Отчего-то опять вспомнилось вчерашнее: вздыбившиеся от ужаса волосы, холодный край стакана, клыкастый тигр на потолке; он снова почувствовал головокружение, сердце тонко заныло.

– Муть! – вдруг сказал Женька развязно. – Я так не хочу!

Было сладостно наблюдать, как быстро зауживается широкая учительская спина, возникает пораженное лицо, слишком яркий для серого костюма, почти красный галстук. По-прежнему чувствовалось, что есть связь между кошмаром прошедшей ночи и тем, что говорил Борис Владимирович, – каким-то образом Онегин, Ленский имели отношение к Женькиному вчерашнему состоянию.

– Что вы сказали? – послышался издалека голос Бориса Владимировича. – Повторите, Столетов!

– Я сказал: муть!.. Муть, муть, муть!

Женька, наверное, походил на дятла, когда клевал слово «муть», парта ему мешала, он выпрямился, уперся затылком в стену. Неторопливо повернулась к нему Людмила Гасилова, испуганный Андрюшка Лузгин бледнел.

– Изволь объясниться, Столетов! – насмешливо сказал Борис Владимирович. – При моем уважении к личности я способен простить грубость, но вправе потребовать объяснения. Пожалуйста!

У него был такой сиплый голос, такие по-молодому обиженные глаза, что Женька беспомощно замычал. Было жалко Бориса Владимировича, стыдно перед Андрюшкой, страшно за самого себя. Помогла Людмила Гасилова с ее безмятежным лицом, пышными волосами, непонятной улыбкой. Она глядела на Женьку спокойно, терпеливо ждала, когда он скажет что-нибудь умное.

– Плохо жить, если Ленский – посредственность! – пробормотал Женька. – Я не хочу, чтобы он был таким!

Ему отчего-то стало легче. К груди прихлынуло горячее, затылок почувствовал верную твердость стены.

– Вы говорили, что любите Пушкина, а ведь Ленский похож на него... – хамским тоном сказал Женька. – Так и Лермонтов думал...

Покачивающийся с носков на каблуки Борис Владимирович неожиданно стал так ненавистен Женьке, что защипало в глазах. Блестело на безымянном пальце золотое кольцо – вызывало душасную ненависть, лежала на высоком лбу картинная белокурая прядь – он задыхался от презрения к ней, обиженно дрожали глаза – он видел, что они похожи на шарики от детского бильярда.

– Если вам хочется быть Онегиным – будьте! – с дерзкой улыбкой разрешил Женька. – Вы тоже неживой, придуманный...

– Покиньте класс, Столетов! На перемене зайдете в кабинет директора...

В коридоре Женька подошел к окну, прижавшись разгоряченной щекой к стеклу, замер в тягучей тоске.

Школьный коридор звенел пустотой, но покоя не было – за коричневыми дверями пошумливали ребята, слышались голоса учителей, скрипели парты, шаркала валенками сторожиха тетя Дуся и, глядя на Женьку, вздыхала. Он думал: «Плохо, ой как плохо!» – и чувствовал, что надо что-то предпринять: или разрыдаться на весь пустой коридор, или, достав из кармана пачку «Прибоя», закурить в десяти метрах от директорской двери. Он осторожно, краешком мысли, вспомнил о казни Гавена, потом, мысленно захлопнув книгу, произнес шепотом: «Я тоже умру!» Должна была опять открыться черная пустота и бесконечность над стрехой родного дома, увидеться холодный Млечный Путь, остановиться сердце, но ничего не произошло... Деревенская околица виднелась через школьное окно, торчал скучный скворечник,

голубела тайга. Не было, нет, не было смерти, пахнувшей типографской краской и дерматином; были только пустота, усталость, скучные воспоминания о бессонной ночи да боль в пояснице.

Когда зазвенел звонок, Женька тихонечко побрел к дверям директорского кабинета, нахально улыбнувшись, прислонился к затемненной стенке. Все было известно наперед: добродушный директор Петр Васильевич будет охать и жалобно вытаращиваться, жалеть замечательного сельского врача-энтузиаста Евгению Сергеевну Столетову, сочувствовать выдающемуся советскому метеорологу-энтузиасту Василию Юрьевичу Покровскому. Потом придет и уместится на кончике соседнего стола Викентий Алексеевич, подумав, непременно скажет: «Весьма, весьма огорчен!» – и протяжно вздохнет.

Бориса Владимировича все не было, затем над головами первоклассников появились наконец его прямые плечи и высоко вознесенная голова. Преподаватель шел неторопливо, сморщившись от шума и суеты, досадливыми движениями рук разгребал ребячью толпу.

– Ага, ты на месте, Столетов! – проговорил Борис Владимирович. – Ну что же, пойдём-ка в учительскую! Шагай-ка за мной, Столетов... Вали-ка за мной, как говорят в нашенской деревне...

Женька угрюмо сопел, потом сказал:

– Вы меня пригласили в кабинет директора, а не в учительскую...

Преподаватель смотрел на Женьку весело, насмешливо.

– Забавное приключение! – великодушным тоном проговорил он. – За-а-бавное! В твоём возрасте, Столетов, естественно хотеть быть загадочным лишним человеком, одеться во флер таинственности... Н-да! Юноши твоего возраста, Столетов, убиенным Ленским быть не хотят! Невыгодно, дорогой мой! А ты?

Женька глядел в ускользающие серые глаза, видел нервную жилку на крепкой шее, беспокойный палец с обручальным кольцом. Потом Женька медленно-медленно подумал: «Не хочет он меня вести к директору...» Конечно! Добродушный директор, поохав и поохав, непременно заинтересуется новой трактовкой образа Онегина, завуч Викентий Алексеевич наверняка доберется до фразы: «В учебнике – для экзаменов, в классе – для души!»

Потрясенный Женька не мигая смотрел в серые глаза преподавателя литературы. «Он боится, боится!» Медленно-медленно наплывала острая жалость к учителю; жалким, тонким казалось золотое кольцо, самодельным – купленный в городе галстук, обнаружилась седина, начинающая трогать виски Бориса Владимировича, корпевшего сутками над стопками тетрадей.

– Борис Владимирович! – прошептал Женька. – Борис Владимирович... Это ничего, это пустяки... Я читал Писарева, знаю, что это он говорил про Ленского «самолюбивая посредственность»... Я скажу Петру Васильевичу, что я виноват во всем...

Вчерашний вечер, длинная ночь, птичья головка Людмилы Гасиловой, холодный край стакана – все сошлось, сцепилось, взяло Женьку за горло. Он согнулся и тихо заплакал – на виду у всей школы, возле дверей директорского кабинета.

Время приближалось к десяти, графинчик с водкой был ополовинен, на тарелках не осталось ни мяса, ни овощей, и уже заканчивалось гостеванье капитана Прохорова в трехцветной пустой комнате.

– Мой ученик и друг, Александр Матвеевич, был естествен, как... как молодая репа... В тот же вечер мы с ним долго беседовали. Впечатление было странное. Он был скучным, как старик, и наивным, словно первоклашка... И всего только одни сутки! Не знаю, как у вас, но в моей молодости такого резкого перехода, кажется, не было... В каком возрасте стрелялся Алеша Пешков?

– Помнится, в семнадцать...

– Ой ли?

Перед Прохоровым лежала еще одна фотография Столетова, принесенная Викентием Алексеевичем из спальни. На ней Женька стоял в петушиной позе, со специально прищуренными глазами, с расчетливо закинутой назад головой.

– Мне трудно говорить о Женькиных любовях! – сказал Викентий Алексеевич. – Я не выношу Людмилу Гасилову, полон нежности к Соне Луниной и до сих пор ханжески побаиваюсь Анну Лукьяненко, пытавшуюся соблазнить моего Женьку...

– Он был влюблен в Гасилову?

– Он думал, что влюблен...

В спальне мелодично, громко и неторопливо пробили часы. Прохоров узнал по бою высокую коробку из дерева, длинный маятник, вычурные стрелки на медном циферблате; часы были такие глупые, купеческие, с осипшим пружинным голосом и двумя ключами – для хода и боя, и как раз такие, какие капитан Прохоров собирался купить в комиссионном магазине, как только получит отдельную квартиру.

– Сейчас откроется дверь и войдет Лида! – сказал со снисходительной улыбкой Викентий Алексеевич. – Это, я вам скажу, настолько европеизированный человек...

И действительно: в комнату вошла Лидия Анисимовна – прохладная и свежая, вечерняя и оживленная. По ее виду можно было заключить, что на улице тихо и звездно, что деревня понемножку успокаивается, а река становится пустынной. Мокрые волосы женщины блестели, пахло от нее обской водой, и Прохоров, вспомнив о своем решении каждый день купаться, загрустил. А Лидия Анисимовна подошла к столу, летуче поцеловав мужа в щеку, села.

– Вы только поглядите на них! – насмешливо сказала женщина. – Они еще только начали разговаривать...

После этого Лидия Анисимовна смахнула с брови капельки речной воды и посмотрела на Прохорова прямо, дерзко и так откровенно неприязненно, что он, ничего не поняв, невольно посторонился взглядом. Лицо Лидии Анисимовны мгновенно постарело, сверкнули между губами остренькие зубы.

– Они еще только начали разговаривать... – звонким голосом повторила Лидия Анисимовна. – О прогулке они забыли...

И только тогда Прохоров понял, что произошло. «Я должен был предугадать это!» – подумал он, а вслух сказал:

– Я могу прийти завтра, Викентий Алексеевич.

Слепой учитель молчал грустно, безнадежно; глазницы снова сделались морщинистыми, провалившимися, и он уже не походил на греческие скульптуры, у которых отсутствие живых глаз кажется естественным и потому незаметным. Как и Прохоров, он не знал, что сказать в злой и напряженной тишине.

– Идите гулять! – усмехнулась Лидия Анисимовна. – Зачем приходить еще завтра, когда можно продолжить разговор сегодня... Идите, идите!

Она уже ничего не скрывала... «Ты увидишь луну, реку, дома! – говорило лицо женщины. – А он... – Опять сверкнули мелкие зубы. – Ты любишь его мужеством, станешь рассказывать за чашкой чая знакомым, с каким удивительным человеком познакомился в Сосновке, а он...»

– Вам еще неизвестно, Прохоров, почему в нашем доме нет ни одного мужского головного убора? – механическим голосом сказала Лидия Анисимовна. – Ну это дело времени! Рассказчик наверняка найдется...

– Лида!

– Не мешай, Викентий!

Не спуская глаз с Прохорова, она медленно засмеялась.

– Мы не носим головные уборы оттого, что боимся потерять ориентировку... Однажды у Викентия веткой тополя сшибло с головы шапку, он, естественно, нагнулся, чтобы поднять ее, и потерял ориентировку... Это было зимой. Сорок три градуса мороза!

– Лида!

– Я прошу тебя не мешать, Викентий!.. А знаете, что мы ненавидим?

– Лида!

– Мы ненавидим сельское строительство... Когда в поселке возникает новое здание, нам хочется взорвать его... Успокойся, Викентий! Я кончила... Отправляйтесь гулять!

Она негромко хлопнула ладонями по столу, поднявшись, насмешливо поклонилась и пошла в спальню – вся ненависть, презрение. Хлопнула оглушительно дверь, занавески закачались, задребезжала пробка в графине, а потом стало очень тихо. Опять было слышно, как потрескивает, погуживает что-то в электрической лампочке.

– Нам пора! – сказал Викентий Алексеевич. – С десяти до одиннадцати я привык гулять...

Но и сам не торопился: посидел еще несколько секунд в тихой задумчивости, потом повернул лицо к электрической лампочке, зафиксировав положение, на мгновение замер. Дальше Викентий Алексеевич действовал как зрячий человек: поднявшись, решительно прошел по комнате, отворил дверь в коридор, двинулся серединой; миновал веранду и крыльцо, похрустывая песком, пошел к калитке, отворил ее и сразу повернул налево. Викентий Алексеевич не пользовался палкой, руки привычно заложил за спину, а линии плеч, шеи, лица по-прежнему напоминали чуткую локаторную конструкцию.

– Тепло! – не останавливаясь, сказал Викентий Алексеевич. – А мне казалось, что прохладнее...

Спелая, как растрескавшийся помидор, уютная, как темнота под одеялом, ночь покалывала землю длинным светом звезд, катилась по блестящей дороге колом луны; вздымалась к небу черная река, в недалеком лесу аукала ночная пичуга. На улице Октябрьской никого уже не было, собаки лаяли редко и неохотно, а на реке жил в торопливой судороге мотора, как бы поедая самого себя, случайный катеришко, и по-прежнему, не уставая, постанывала в ельнике неумелая гитара.

Викентий Алексеевич шел первым – высокий, сутуловатый, с прямыми офицерскими плечами. Он был одет в плотно облегающие брюки, лыжного типа куртка сидела на нем плотно, все пуговицы были застегнуты, а длинные шнурки ботинок обвязаны вокруг щиколоток – все целесообразно, продуманно.

Повиляв по улице Октябрьской, дорога кончилась, уперевшись в синий лес, рассеченный надвое просекой. По ней они и пошли дальше – на возвышенность обского яра, поближе к мерцающим звездам, к той точке берега, где река, живущая далеко внизу, была совсем не видной, зато Сосновка лежала под ногами с отчетливостью хорошо освещенного аэродрома. Остановившись на самой верхотуре, Викентий Алексеевич сделал медленный поворот на девяносто градусов, расположив щеки ровно посередине между желтой луной и темной пропастью реки, спокойно дождался отставшего Прохорова.

– Вы простили мою жену? – спросил он, когда Прохоров приблизился. – Это я виноват: потерял ощущение времени...

Прохоров не ответил и, видимо, поступил правильно, так как Викентий Алексеевич засмеялся. Теперь, ночью, когда глазницы всякого человека кажутся темными, а зрачки не видны, лицо Радина было обыкновенным – прямой, чуточку толстоватый нос, спортивная подобранность щек, раздвоенный подбородок.

– Я добрее жены! – сказал Викентий Алексеевич. – Мне легче быть добрым: слеп я, а не Лида...

После этого они засмеялись оба.

– Я родился в Сосновке, – сказал Радин, – а за годы войны деревня не переменилась... Вы деревенский?

– Да!

– А жена из города... Ей трудно понять, что для меня Сосновка – большая привычная комната! Лида боится новых домов...

Прохоров был уверен, что Викентий Алексеевич зримо чувствует пустоту провала, звезды над головой, притаившийся мрак сосняка, слюдяной блеск дороги за спиной.

– Я знаю о столетовской коллекции карманных электрических фонариков... – сказал Прохоров. – Вы о ней тоже знаете, Викентий Алексеевич.

– Конечно! В деле описан шрам на его виске?

– Да.

– Шраму девять лет. Женька напоролся на сучок, когда с завязанными глазами, подражая мне, ходил по Сосновке...

Скрылся в темени катеришко-самоход, на реке теперь самолюбиво пыхтел смутный в очертаниях, но с яркими огнями на мачтах буксир; река бесшумно – целиком – неслась на север, висящая над ней луна походила только на луну – такая была неповторимая, полнокровная.

– Я должен заявить, – шутливо сказал Прохоров, – что тоже не отношу себя к тем людям, которым можно запросто положить палец в рот! Если вы каждый день гуляете по этой дороге с десяти до одиннадцати, то вы единственный человек, мимо кого можно пройти без риска быть опознанным... – И он спокойно добавил: – Простите!

Прохоров терпеливо ждал, пока Викентий Алексеевич припомнит вечер двадцать второго мая, мысленно пройдет по дороге, остановится на круче, прислушается к ночной тишине – звучат или не звучат шаги. Прошло не менее двух минут до того мгновения, когда Викентий Алексеевич, коротко передохнув, сказал:

– Мимо меня действительно проходил незнакомый человек. Это мог быть и Заварзин, его я не знаю... Мать честная! Он мог не принять меня в расчет! Но как же я узнаю, что это был Заварзин?

Прохоров на секундочку замялся.

– Нужен следственный эксперимент, – наконец решительно сказал он. – Проведем мимо вас пять знакомых и незнакомых человек, среди которых будет Заварзин.

В тишине раздались коротенькие, еле слышные металлические удары – это отсчитывали одиннадцать часов на руке Викентия Алексеевича. Когда они замолкли, сделалось совсем глухо и от этого особенно уютно, тепло, словно температура зависела от интенсивности звуков. Слепой учитель опять поднял голову, покачал ею так, точно гладил кожу лунным светом.

– Еще есть чисто милицейские вопросы?

– Только один, Викентий Алексеевич! Что происходило на лесосеке двадцать второго мая, кроме ссоры Столетова с Аркадием Заварзиным и стычки с мастером Гасиловым?

– Странное происходило! – быстро ответил Радин. – Накануне Женька явился ко мне и еще на пороге заорал: «Гасилову – кранты!»

– Как это понять?

– Вот и я спросил Женьку: «Как это понять?» Но он только орал: «Кранты!»

– И все?

– Все! Правда, уходя, загадочно шепнул: «После окончания операции будет доложено, комиссар».

Они стояли неподвижно, грустные, раздосадованные. Потом Викентий Алексеевич весело спросил:

– Хотите знать, как я воспринимаю вас? Вы темно-коричневый... А лет десять назад были красным, как Женька...

Помолчав, капитан Прохоров принужденно оживился.

– Я был просто красным или ярко-красным? – спросил он.

Под ногами лежала ночная Сосновка – в редких огнях, с разъединственным фонарем возле конторы, с блестящей пустотой дороги. По-ночному хрипло лаяли собаки, звезды качались на зыбких ниточках собственных лучей, по-прежнему сладко и тревожно бренчала в ельнике гитара.

8

В пилипенковском кабинете лунный свет отъеденным ломтем лежал на раскладушке, оконные стекла синели, часы-ходики гвоздями вколачивали в стенку жаркие секунды душевной ночи.

Не зажигая света, Прохоров подошел к раскладушке, сел на стул, лениво потянулся. Сколько обременительных поступков надо было произвести: расстелить постель, раздеться, лечь, закрыть глаза, зная, что не уснешь...

Он мягким движением пальцев полез в карман, вынул плоский кошелек, взвесил его на ладони, снова лениво потянулся и почувствовал, какой он, Прохоров, весь взбудораженный, горячий, беспокойный до болезненности. И воображение оказалось горячным, нервным... Вот вам пожалуйста! Вошла в комнату Вера, покачиваясь на высоких каблуках, укоризненно покачала головой, вынув из его пальцев черный кошелек, насмешливо сказала: «Ты станешь наркоманом, Прохоров!»

Прохоров сосредоточенно считал: «Сегодня вторник... Значит, в последний раз я пил снотворное четыре дня назад... А на пароходе... При чем тут пароход!» Он сунул коробочку обратно в кошелек, решительно щелкнув замком, принялся лениво расстилать постель – снял и аккуратно свернул на восемь долек пикейное одеяло, поправил углы пододеяльника, взбил слежавшиеся подушки. Потом быстро разделся. Засыпал он всегда на правом боку, ладонь подкладывал под щеку, колени подтягивал к животу. Точно так Прохоров устроился и сегодня – закрыл глаза, перестал двигаться, два-три раза легонько вздохнул... И началось! В комнату снова вошла Вера, походила бесцельно из угла в угол, шелестя фольгой, развернула и съела шоколадную конфету; потом она сказала, что не звонила сегодня от десяти до одиннадцати и звонить не собирается. Тут неожиданно явился в кабинет завуч сосновской школы Викентий Алексеевич, по-хозяйски усевшись, критически поджал губы: «Весьма, весьма при-скорбно, Александр Матвеевич, что десять лет назад вы были ярко-красным, а затем... потемнели!»

...Слепой учитель был прав: капитан Прохоров не только потемнел, а побурел, заплесневел, покрылся бронированной скорлупой лени, сделался нерешительным, как сороконожка, скучным, как зимний вечер за подкидным дураком. Как он живет, черт побери! Двенадцать часов на работе, ужин в маленькой столовой, где спиртные напитки распивать воспрещается (шницель, два стакана крепкого чая), вечер в холостяцкой квартире. С друзьями встречается только на работе; ни в кино, ни в театры не ходит, матери последний раз писал месяц назад; на соседей по лестничной площадке рычит, а коммунальных сожителей открыто ненавидит. А они обыкновенные хорошие люди. Им хочется в субботу и воскресенье посидеть с гостями, поразговаривать, попеть песню «Подмосковные вечера». А как зазнался Прохоров! Как зазнался этот областной капитанишко! Все у него бездари и кретины, все, понимаешь ли, не стоят прохоровского мизинца... Он даже не коричневый, капитан Прохоров, а черный, он... валамова ослица!

Прохоров задумался: можно ли называть самого себя валамовой ослицей? Судя по тому, что ослица женского рода, – нельзя, но в принципе... И по звучанию валамова ослица очень

шла человеку, который недавно сказал любимой женщине, то есть Вере: «Не хочу антиквариата!» Она с глубокой печалью ответила: «Дурачок!»

Черный кошелек Прохоров оставил в кармане пиджака, пиджак повесил на спинку стула (препротивная холостяцкая привычка!), карман с кошельком поэтому находился на расстоянии вытянутой руки от раскладушки... Сама «валаамова ослица» лежала на левом боку, старательно зажимала глаза и не хотела спать... «Буду считать и погонять слонов!» – решила она.

Первый слон был расплывчатый, нематериальный, по сеням не прошел, а проплыл, ни одной половицей не скрипнул, вошедши в пилипенковский кабинет, медленно растаял; второй слон оказался бесхвостым, плоским и одноглазым – на спине у него сидел плоский старец Валаам и помахивал гусиным пером.

Третий слон был трехмерным, в сенях половицами не скрипел, грохотал, в кабинетные двери пробрался с трудом – пришлось сгибать морщинистые ноги. На серой попоне сидел Аркадий Заварзин, махал валаамовским гусиным пером и нежно улыбался Прохорову: «Вы ошибаетесь, капитан! Я вовсе не ехал на одной тормозной площадке с вашим Столетовым!»

...Прохоров перевернулся на спину, отдуваясь, подмигнул светлему потолку: «Плевал я на слонов! Надо считать...» Через три секунды выяснилось, что у цифры 3 наблюдается полнотелость, 5 похожа на полковой барабан с палочками, 7 стремится к обособленности, и вообще мысль зацепилась намертво за рассказ Чапека «Поэт». Однако он упрямо считал: «...девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два...» Двадцать два?

Что произошло в лесосеке 22 мая? Как понимать: «Гасилову – кранты»? Отчего кажется, что созидательный Петр Петрович Гасилов имеет пря-а-мо-е отношение к смерти Столетова?

Гасилов – Заварзин – Столетов...

Людмила – Софья – Анна...

Случайно – подтолкнули – толкнули – сбросили...

Пе-ту-хов!

Нок-си-рон!

«Венгерское успокаивающее средство ноксирон не относится к числу барбитуратов, то есть к той группе снотворных, которые... Ноксирон является успокаивающим и снотворным средством. Сон после приема препарата наступает через 20–30 минут и продолжается 5–6 часов. В отличие от барбитуратов он не оказывает угнетающего влияния на дыхание и кровообращение, на кроветворные органы, печень и почки. Препарат мало токсичен, быстро выводится из организма почками...»

«Вот это память!» – восхитился самим собой Прохоров.

Луч зеленой важной звезды колол глаза. Он медленно вытянул руку, не глядя – вот скотина! – вынул из кармана кошелек, достав пилюлю ноксирона, обнаружил – трижды скотина! – что стакан с водой стоит на тумбочке.

Выпив снотворное, Прохоров вслух выругался:

– Черт знает что!

...Каждое новое дело он начинал изматывающей бессонницей, воображение разыгрывалось до болезненности, лобные кости болели, а тут еще радинская водка, ожидание телефонного звонка Веры, постоянная мысль о родителях Евгения Столетова, загадочный Петр Петрович Гасилов, странная тайна майского дня...

Минут через двадцать Прохоров заснул – маленький, худенький, бледнолицый, с крепко зажмуренными глазами и насмешливо выпяченной нижней губой...

Следующий день с утра вызрел такой душный и горячий, что уже на рассвете Обь дыми-лась маревом, небо над ней возникло раскаленное добела, деревья в палисадниках сухо поше-веливали листьями, а воздух сделался липким, как плохая клеенка. И к полудню в Сосновке житья не было – все слепило и обжигало; деревянный тротуар через подошву туфель горячил ноги, животные притихли, а куры лежали в лопухах с обморочно закаченными глазами.

Обливаясь потом, но при галстук и пиджаке капитан Прохоров неторопливо шествовал по деревне, заложив за спину руки, производил осмотр сосновских домов со своими особыми, милицейскими целями... Вот небольшое строение полуказенного типа – здесь проживают тех-норук Петухов и холостой техник Гущенко; далее следует дом бригадира Притыкина – толстые бревна, четыре окна, кирпичный фундамент, железная крыша; вот здесь имеет вид на житель-ство напарник погибшего Столетова тракторист Никита Суворов – в домишке пять комнат, веранда огромная, огородишко можно превратить в полнометражный стадион; вот еще одно монументальное строение... А!

Одним словом, хорошо, богато, как выразился участковый Пилипенко, жили сосновские лесозаготовители, а когда Прохоров заглянул в пилипенковскую записную книжку, то сухо поджал губы – обыкновенный тракторист вместе с северной надбавкой зарабатывал в месяц не менее трехсот рублей, а лучшие – Андрюшка Лузгин, Борька Маслов, погибший Женька Сто-летов – иногда получали и четыреста. Что касается бывшего уголовника Аркадия Заварзина, то его лицевой счет находился перед глазами Прохорова в виде лиственничного добротного дома.

Богато, богато жили сосновские лесозаготовители! Всего четыре года прошло с тех пор, как освобожденный из исправительно-трудовой колонии Аркадий Заварзин, но уже отгрохал себе такой домишко, что разлили-малина! Построенный в кредит особняк со всех сторон обшит свеженьким тесом, крыша шатровая, фундамент кирпичный, мощные ворота содрогаются от лая свирепого пса, посаженного на звенящую цепь; на окнах – резные наличники, крыльцо тоже украшено затейливой резьбой, в петухах, а на трубу нахлобучена этакая корона из листового железа. В доме, должно быть, не меньше четырех комнат, хотя семья Заварзина состояла из трех человек – он сам, жена Мария, двухлетний мальчишка по имени Петька.

– Шикарно! – вслух сказал Прохоров. – Богато!

Еще немного постояв возле заварзинского дома, капитан затаенно улыбнулся, промокнув платком пот на лбу, пошел дальше. Он, конечно, не мог еще ходить по деревне с завязанными глазами, но довольно уверенно разбирался в обстановке – вот это Трудовой переулок, вот это – переулок Зеленый, вот это – еще один Трудовой переулок, а вот это – детский сад и ясли. Построены они буквой Г, обнесены невысоким забором, посередине пасутся разнокалиберные ребятишки, похаживает грандиозная от полноты и белого халата воспитательница.

– Здравствуйте!

Воспитательница через низкий забор подозрительно оглядела Прохорова, нагнав на под-бородок три жирные складки, бегло заглянула в удостоверение работника уголовного розыска.

– Кого надо?

– А Петьку Заварзина!

Двухлетний сын Аркадия Заварзина сидел на деревянном торце песочницы, наблюдал за тем, как узкоглазая девчонка строит домик из серого песка. На мальчишке была аккуратная рубашечка с белыми пуговицами, штаны на помочах, желтые ботинки; мальчишка был све-жий и розовый, как молодая морковка, серые глаза возбужденно блестели, белокурые волосы вились. Нижняя часть лица Петьки была отцовской, все остальное, видимо, материнским – курносость, страстные бровки, ладные круглые уши.

– Шумно у вас очень! – сочувственно сказал Прохоров монументальной воспитатель-нице. – А тут еще жарыща... Не продохнешь!

– Шум у нас обыкновенный...

– Тогда до свиданья! Желаю вам успехов в труде и личной жизни!

Раза два оглянувшись, Прохоров двинулся дальше по пыльной дороге, посмеиваясь над воспитательницей, похожей на курицу с растопыренными крыльями и очень взволнованной прохоровским появлением, хотя разговаривала с ним строго. «Дамочка-то является незамужней!» – думал он, вспоминая востренький взгляд, в котором так и кричало: «Незнакомый мужчина!»

Прохоров вышел на обский берег, подыскал удобное бревно, сел лицом к реке. Аккуратно сложенный пиджак он положил рядом, расстегнул на груди рубаху, но галстук не снял, подумав насмешливо: «Не могу же я представиться Людмиле Гасиловой, так сказать, в неглиже!» После этого Прохоров прислушался к себе и понял, что у него хорошее настроение – было спокойно, иронично, отчего-то утишивалось лихорадочное состояние первых дней работы в Сосновке, и, как всегда, было совершенно непонятно, почему происходит это. Он по-хорошему улыбнулся, когда вспомнил утреннее...

...Участковый Пилипенко, стоя посередине кабинета, держал нос высоко, сапоги сверкали, румянец лежал на щеках многослойными напластованиями, и все это было заслуженным, так как Пилипенко пять минут назад сообщил такое, что капитан Прохоров на несколько секунд перестал улыбаться. Потом Прохоров сел на кончик двухтумбового стола, сосредоточенно поболтав ногами, почувствовал вдохновение.

Он сказал:

– Найдите, мой родной, Аркадия Заварзина, возьмите подписку о невыезде и положите ее вот об это место стола...

Потом он снисходительно прищурился.

– Вольно, младший лейтенант! Можете отставить ногу и вытереть с ясного лба обильный пот... Спасибо! А может быть, сядете?

Когда участковый Пилипенко сел и улыбнулся знакомой улыбкой («Болтай, болтай, капиташка, знаем мы вас как облупленных!»), Прохоров еще раз одобрительно посмотрел на него, затем собрал на лбу морщины и дал душевнечку полный разгул.

– Ах, ах, товарищ Пилипенко! – укоризненно сказал он. – Разве можно думать о вышестоящем начальстве: «Давай болтай, болтай – язык без костей!» О вышестоящем начальстве надо думать так: «Ой, не пропустить бы слово, которое оно обронило!» Вы согласны со мной, младший лейтенант Пилипенко?

– Так точно!

Бестия! Говорит: «Так точно!» – а в коричневых глазах насмешка, губы растягиваются – охота хохотать, лицо с плаката: «В сберкассе накопил – машину купил!» – по-молодому оживленно, так как думает обидное: «Ни хрена бы ты не сделал без меня, трепач!» Однако сидит на стуле строго, крепкий такой, здоровый, уверенный в том, что жизнь прекрасна и удивительна, и кожа на лице – без единой морщинки, складочки, темного пятнышка.

– Стыдно, молодой человек, не уважать старших! – ласково продолжал Прохоров. – Признаю: вы накололи технорука Петухова, но ведь и Прохоров не дремал! Мне уже известно, почему Евгений Столетов вырезал из книг и журналов негров. А! Обомлели!

Пилипенко если и не обомлел, то по крайней мере удивился, перестал насмешливо улыбаться и нагло скрипеть новенькой портупеей. «Какие негры? Кто вырезал?» – сказали его ореховые глаза, плакатные брови. Потом Пилипенко умудрился в сидячем положении сделать руки по швам – прикоснулся ладонями к коленям.

– Разрешите вас поздравить, товарищ капитан!

Прохорову сделалось совсем весело. Он бросил взгляд в распахнутое окно – голубеет река, покосился на свои туфли – блестят, перевел взгляд на раскладушку – отлично застелена. И сам Прохоров очень понравился себе... Вот сидит перед молодым офицером умудренный опытом и обремененный годами старший товарищ, чуждый сопливой сентиментальности, строгий, но справедливый, учит его уму-разуму. Насмешливые глаза капитана Прохорова

полны отцовской нежности, которую приходится скрывать под маской суровости, губы у капитана Прохорова...

– Столетов был хороший парень, но психический, – тоном рапорта произнес Пилипенко. – Когда он еще был живой, я ему сказал, что не уважаю таких, как он...

Прохоров слез со стола.

– А почему же?

– Он тоже переспал с гражданкой Лукьяненко! Убивался по Гасиловой, а переспал с Лукьяненко... Аморалочка?

Прохоров обозлился:

– Вы-то откуда знаете?

– К Лукьяненко зря не ходят!

Младший лейтенант Пилипенко – предполагаемый ученик капитана Прохорова – блестящей струйкой взвился со стула, задрал подбородок, посмотрел на областное начальство насмешливо.

– Разрешите выполнять задание, товарищ капитан?

– Выполняйте, черт... Простите, Пилипенко!

– Пустяки, товарищ капитан!

Дальнейшее было традиционным: ни разу не оглянувшись, забыв начисто о Прохорове, участковый вызываясь прогрохотал половицами сеней и ступеньками крыльца, пошел по деревянному тротуару свечечкой, с такой презрительной спиной, которая говорила: «Плевали мы на вас! Мы свое дело знаем туго!»

– Какой пышный!

После этих слов Прохоров еще немножко постоял у окна, дождавшись, когда Пилипенко завернет за угол, вышел на крыльцо сам и снова остановился – снимать пиджак или не снимать, идти в галстуке или без галстука?..

...И вот пиджак лежал рядом, галстук был свободно распушен, сам Прохоров, оказываясь, находился в хорошем настроении – сидел на бревне, лениво отмахивался от большой настырной мухи, а думал о том, что давно не видался с рекой... Капитан Прохоров родился в такой же обской деревне, как Сосновка, ему было скучно, когда мимо городского окна текла не Обь, а темная, быстрая и беспокойная Ромь. Что-то в ней было суетное, куда-то она все торопилась, постоянно все-таки опаздывая; берега у Роми тоже не отличались величественностью – то под правой рукой у реки жили яры, то под левой, то вообще было трудно понять, равнинная река Ромь или горная и чего ей, собственно, надо. Другое дело на Оби! Здесь только бросишь взгляд на берега, сразу понятно, где север, где юг, где ловятся нельмы и осетры, а где и захудалого чебака не вытащишь. На Оби спокойно, просто, хорошо дышится, мир кажется простым и приятным; можно думать и не думать, вспоминать и не вспоминать... Хорошая, очень хорошая река, эта Обь!

Прохоров краешком уха услышал легкие шаги на дороге, скосив глаза, увидел белую фигуру девушки, движущейся сквозь волнистое марево. Белый цвет был ярок, насыщен, скрывал подробности фигуры, но общее впечатление было такое, точно приближается жданная неожиданность... Действительно, на фоне темных домов передвигалось нечто легкое, прозрачное, такое же зыбкое, как окружающее девушку марево. Белое платье, летучая походка, вздыбленные на затылке, как бы улетающие волосы.

Когда Людмила Гасилова еще приблизилась, Прохоров увидел, что на ней платье, которое сверху донизу застегивается на пуговицы, на ногах у нее были резиновые «вьетнамки», через правую руку перекинута громадное махровое полотенце, а в левой руке она несла синюю пластмассовую сумку, состоящую из крупных ячеек. Дно сумки тоже было плетеным, ручки – длинными, сумка вовсе не предназначалась для переноски купальных принадлежностей – косынки, зеркала, губной помады и прочей пляжной премудрости. Синяя сумка была явно

фруктовой; такую сумку, наполнив яблоками, удобно окунуть в воду или поставить под сильную струю воды из крана.

Еще через несколько секунд Прохоров отлично разглядел небольшое, слегка удлинённое, нежно-матовое лицо и тут же понял, что девушка по-настоящему красива, хотя у нее был чуточку тяжеловат подбородок, слишком выгнута линия лба, узковато поставлены глаза. Не портило Людмилу и то, что на ее лице не было умнейших, мудрых, добрых глаз отца Петра Петровича Гасилова, так как глаза у девушки были, видимо, материнские – серые, удлиненные и влажные.

Подойдя к песчаному срезу низкого берега, девушка неторопливо поставила на землю сумку для фруктов, плавно нагнувшись, достала из нее плед, постелила его на песок, потом, поразмыслив немного, бросила на плед дымчатые очки с крупными фиолетовыми стеклами, часы, еще какую-то мелочь; полотенце она положила на уголок пледа и уж затем выпрямилась, потянулась, зевнула длинно и, видимо, сладко. Она, конечно, спиной ощущала прохоровские любопытные глаза, но вела себя так естественно и непринужденно, точно и не догадывалась о его присутствии. Тогда Прохоров весело подумал: «Пасется!»

Людмила стояла неподвижно, изогнувшись на фоне желтой реки, безмятежная и светлая, как небо. Так продолжалось минуты три, потом девушка сделала несколько быстрых, неумовимых движений, и платье плавно – легкое, тонкое – опустилось к ее ногам. «Эффектно!» – медленно подумал Прохоров и не сразу, а по частям, по раздельности ощущений почувствовал, как подступила к горлу тревожная боль; она, боль, подобралась толчками, как бы незаметно, и тут же сделалась тупой, ноющей. «Они должны были стать мужем и женой!» – подумал Прохоров. Только Женьке Столетову должны были принадлежать эти покатые плечи, эта невинная округлость рук, эти ноги, полные в икрах и сухие в круглом колене...

Людмила пошла к воде. И произошло странное: девушка повела себя так, словно не она входила в обскую воду, а, наоборот, обская вода по ее разрешению покорно обтекала ноги, бедра, локти, плечи. Девушка так шла по ровному дну, словно не заметила перемещения из одной стихии в другую, и вид у нее был такой, словно Людмила говорила: «Был воздух, теперь вода. В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

Было что-то бездумно-плавное, дремотное, растительное в ее движениях, в руках, слабо загребавших воду, в лице, которое даже не собиралось менять безмятежного выражения на выражение удовольствия; ей было все равно, куда плыть, солнце ей не мешало. Людмила плыла все дальше и дальше по слепящей желтой полоске, вскоре стала маячить в отдалении только красная купальная шапочка – то пропадая, то появляясь, – но это не вызывало беспокойства, так как и красная шапочка говорила: «Можно плыть, а можно и не плыть. Можно утонуть, а можно и не утонуть... В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

– Пасется! – вслух произнес Прохоров и, прислушиваясь, повторил: – Пасется!

Прохоров вдруг рассмеялся тому, что резиновая шапочка Людмилы походила на поплавок удочки – девушку подхватил сильный обский стрежень и понес, то окуная, то вздымая на поверхность; казалось, что красный поплавок трогает очень осторожная, умная и опытная рыба.

«Собираетесь жениться на Гасиловой, товарищ Петухов?» – спросил Прохоров у красной купальной шапочки. – Собираетесь жениться, а вот Пилипенко говорит...»

– Посмотрим, посмотрим! – снова вслух сказал он. – Разберемся, кто красная шапочка, а кто серый волк!

И суетливо оглянувшись, не слышит ли кто, как разговаривает сам с собой сорокапятилетний капитан уголовного розыска.

10

Безразличная к холодным капелькам воды, осыпавшим гладкую кожу, к деревне, глядевшей на нее окнами всех домов, ко всему белому свету, выходила из реки Людмила Гасилова. Постояла минуточку к солнцу лицом, затем повернулась к жарким лучам спиной, потом – боком, и опять это происходило так, словно не девушка подставляла тело солнцу, а само солнце спешило предоставить ей тепло. Сытно, счастливо, спокойно паслась девушка на солнце, воде, на земле, выбирала самую вкусную и питательную траву, и капитан Прохоров терпеливо пережидал ее жизнелюбие.

Девушка не свернула полотенца, когда кончила вытираться, а бросила его, не глядя, в сумку, не надела очки-фильтры, а очки сами плавно сели на переносицу, не застегнула платья сверху донизу, а оно само сомкнулось вокруг нее, не пошла на верхотинку яра, а сам яр начал подставляться под ее безмятежные ноги. Зыбкая, длинная, она очень бережно несла себя от песчаной косы к яру; вся была чистенькая, нарядная, свежая, как двухлетний Петька Заварзин, а от больших очков казалась бы заграничной штучкой, если бы не фруктовая сумка, будь она неладна!

До Людмилы оставалось еще метров пятнадцать, но Прохоров уже начал глядеть на нее открыто, улыбаться так, точно смотрел на человека, которого давно знал, да вот забыл, кто он такой. Когда же девушка подошла, оживленным голосом произнес:

– Здравствуйте, здравствуйте, Людмила Петровна! Простите меня! Ох, простите меня! Но как я мог поступить иначе? Ведь если в реке под названием Обь купается Афродита, то в ней, в реченьке-то, нет места капитану уголовного розыска Александру Матвеевичу Прохорову!.. Искупаться ведь я хотел... Но увы! Увы. Суждены нам благие порывы... Это кто написал? Пушкин или Лермонтов? Впрочем, вполне возможно, что ни тот и ни другой...

Паясничая, профессионально улыбаясь и мельком думая о том, что поступает несправедливо, заранее считая Людмилу причастной к гибели Евгения Столетова, капитан Прохоров уже набело, окончательно рассмотрел девушку, которая захотела обнимать загорелую шею человека, умеющего хорошо сидеть на стуле, и отвергла парня, умеющего ходить так, словно навстречу всегда дул холодный тугой ветер.

– Здравствуйте, здравствуйте, Людмила Петровна! – повторял Прохоров, жадно осматривая девушку и улыбаясь тому, что на ее лице по-прежнему было написано безмятежное: «Вы – Прохоров, я – Гасилова. В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

– Присаживайтесь, присаживайтесь, Людмила Петровна! В ногах, как говорится, правды нет, а я ужасный болтун... Я такой болтун, что через пять минут вы помрете со скуки... А день такой прекрасный, что просто ужас!

От нее пахло речной свежестью, у нее было и вблизи нежное, молодое, сероглазое, аккуратно вырезанное лицо, руки – округлые, с тонкими пальцами, с гладкой и тоже нежной кожей; она вся была такая молодая, такая чистая, такая благоуханная, что и день казался прохладней, и Обь голубела праздничней, и небо сияло над ней как бы хрустальное... «Женька, Женька! – тоскливо думал Прохоров. – Как же это так случилось, Женька Столетов?»

– Я, знаете ли, Людмила Петровна, всегда путаю Лермонтова с Пушкиным, а Пушкина с Лермонтовым.

Девушка сидела на бревне так же вольготно, как недавно сиживал в пилипенковском кабинете технорук Петухов, слушая Прохорова, слегка приподняла тонкую бровь, пальцами перебирала цепочку-браслет на правой руке.

– Я все-таки больше люблю Лермонтова, – без улыбки сказала Людмила и повернула синеватые белки глаз в сторону Прохорова. – Нет, серьезно!

Девушка произнесла всего несколько незначительных слов, но они были сказаны с такой простотой и непосредственностью, с такой интимной интонацией, что Прохоров почувствовал, как девушка начинает занимать в нем, в Прохорове, такое же удобное место, какое занимает на сосновом бревне. «Вы, Прохоров, хороший, замечательный человек! Я, Людмила Гасилова, тоже хороший, замечательный человек! Так в чем дело? Ах, какие все это пустяки!» – сказали серые глаза девушки, и Прохоров невольно почувствовал, что действительно пустяки! Важно в мире только одно: сидеть на бревнышке и переживать конец медленной минуты, а что касается следующего мгновения – ах, какие пустяки!

– Вы, наверное, романтическая, увлекающаяся натура, – шутливо сказал Прохоров. – Может быть, вы даже сами пишете стихи... Про темные ночи, широкий плащ и острый кинжал, как говорит мой друг из Еревана, замечательный майор Вано. Ах, каким вином он угощал меня!

Людмила негромко засмеялась, а Прохоров с новой силой почувствовал, какое у него хорошее настроение. Ему так легко и весело болтается, так много слов висит на кончике освожденного языка, так легко думается и кажется, что на самом деле все пустяки!

– Жарко вот только, – пожаловался Прохоров. – Мой друг Вано не верит, что на Оби бывают душные, южные дни. Он вообще забавный, этот Вано! Говорит: «В Армении есть все, на Оби – ничего!» – «Эх, Вано, – говорю я ему, – на Оби есть то, чего нет в Армении, и плюс то, что есть в Армении». Он отвечает: «Берем кинжал!..» Ну, вот вы смеетесь, Людмила Петровна, а мне не до веселья. Какой уж тут смех, Людмила Петровна, когда следователь Сорокин, разговаривая с вами, не догадался спросить, где вы находились в те минуты, когда трагически погиб Евгений Столетов? Это первый вопрос. А второй вопрос такой: не собирался ли Евгений в тот вечер повидаться с вами?

Людмила слегка нахмурила брови, вспоминая покусала ровными зубами нижнюю губу, а Прохоров почувствовал желание закурить. Ей-богу, в его милицейской практике еще не встречался такой человек, как Людмила Гасилова, которая никак – ну никак! – не отреагировала на его иезуитский прием. Он-то думал, что очень ловко подвел под болтовню о несуществующем майоре Вано два страшных для девушки вопроса, а она только нахмурила брови да деловито примолкла.

– Мне надо все хорошенько вспомнить, – сказала Людмила. – Серьезно!.. Ну вот! Вспомнила. До шести я была дома, потом пошла гулять... Часов до семи я гуляла, зашла домой, переоделась и отправилась... – Людмила спокойно улыбнулась. – Я отправилась на свидание с Петуховым... Серьезно. Что касается второго вопроса, то... Накануне я получила от Жени записку. Он просил о встрече...

Прохоров молчал. Ему казалось, что Людмила снова вернулась на кромку речного плеса, встав лицом к Оби, сделала несколько ленивых, безмятежных движений, и платье опять упало к ее ногам... «Да, – утверждали серые глаза девушки, – между моим свиданием с Петуховым и смертью Столетова может существовать связь. Поэтому ничего я не хочу утаивать, буду говорить правду и только правду. В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

– Вы ответили на записку?

– Нет! – подумав, сказала она. – Я еще раньше предупреждала Женю, что не буду отвечать...

Он замер, ожидая слова «серьезно», но девушка на этот раз не произнесла его. Она покачала головой и замолкла так естественно, как перестают шуметь деревья, когда затихает ветер; лицо у нее погрузтело. Людмила, наверное, вспомнила разговор с Евгением о письмах, видела, наверное, как Женька стоит перед ней, как молчит, как улыбается, как не верит в серьезность происходящего. Это было в те дни, когда происходило что-то очень серьезное между ним и Петром Петровичем Гасиловым, когда Женькины друзья-комсомольцы от чего-то словно оса-

танели, вся деревня наполнилась тайными шепотами, заговорщицкими встречами Столетова с друзьями, открытой ненавистью ребят к Гасилову...

– Вы разлюбили Женьку? – вдруг тихо спросил Прохоров.

Было около пяти часов, река от жары была сиреневой, лодки на воде казались не плывущими, а висящими в сиреневости; за спиной Прохорова, за домами, погукивала кукушка, а деревня казалась вымершей, пустой, как заколоченный дом; грустно было слушать кукушку, глядеть на сиреневую Обь, плывущую к северу, к Обской губе, к чертовой матери...

– Я не знаю, любила ли Женю вообще, – медленно сказала девушка. – Только я всегда чувствовала, что не выйду за него замуж...

Теперь Прохоров уже не боялся, что она произнесет слово «серьезно», ему был интересен процесс мышления Людмилы, и он негромко покашлял, чтобы поторопить девушку.

– Я не могла быть его женой... Женщина чувствует, когда человек не может быть хорошим мужем...

Она трудно находила слова, ей самой, конечно, не все было понятно.

– Я вот так скажу: Женя любил слишком многое, чтобы быть хорошим мужем. Ему тоже было трудно со мной... Знаете, Женя не мог видеть, как я ем. Seriously!

Инстинктивно убежденная в том, что существовала связь между нею и смертью Столетова, но не понимая уголовной опасности этой связи, Людмила по-прежнему была предельно правдивой, раскрывалась с такой жестокостью, что Прохоров не верил своим ушам... Бог ты мой, она еще продолжает!

– С Женей было тревожно, как перед грозой. Я никогда не знала, чего он хочет, всегда ждала неожиданного поступка. Да, да, он был неповторимым человеком, но это так трудно... Seriously. Он укорял меня: «Людка, ты одинаковая, как маковинки в коробочке!» Перед встречей с Женей я всегда чувствовала беспокойство, усталость...

Людмила сделала паузу как раз в тот миг, когда Прохоров понял, чего ему не хватало – знакомства с матерью девушки! Ох, как было важно знать ту женщину, которая снабдила дочь серыми безмятежными глазами, ровной линией зубов!

– Я все надеялась, что Женя переменится... Однако ничего не менялось! Такие люди, как Женя, не меняются до последнего дня жизни. В чем он был постоянным, так это в непременчивости... Папа говорит: «*Такие люди, как Столетов, не должны умирать*», но Жени нет... Нет Жени! Не будет он никогда купаться со мной в Оби...

Прохоров уже боялся глядеть в спокойные глаза девушки.

– Женя всегда далеко плавал, а однажды переплыл Обь... Я лежала на берегу, он подошел и сказал: «Людка, я теперь знаю, что самое опасное – середина!..» Это он сказал для меня. Он всегда говорил, что я не плохая и не хорошая... Потом Женя признался: «На середине Оби я струсил! До тебя было столько же, сколько до противоположного берега... Брр! Страшно было на середине!..»

Хотелось тихонечко завывать...

– А я сказала Жене: «Я ни капельки не боялась, что ты утонешь! Seriously!» Тогда он засмеялся и сказал: «Я выжил только потому, что поплыл к противоположному берегу, а не к тебе...» Эти слова я и тогда не поняла, и теперь не понимаю. Я только чувствую, что в них много правды. Женя так любил меня, что иногда ему надо было уплывать... Теперь он уплыл навсегда... Больше не вернется...

Девушка замолкла, положила руки на колени, и они сделались беспомощными, невинными, девчоночьими: исчезло из поля зрения кольцо с зеленым камнем, браслет, красные ногти скукающей курортницы. Прохорову стало холодно на палящем солнце. Если Людмила понимает самое себя, если знает о своей любви к Женьке, если в эту любовь осознанно помещает технорука Петухова...

– Надо немного отдохнуть, – сказал Прохоров. – Помолчим, Людмила Петровна?

– Помолчим!

Прошло уже полчаса с тех пор, как Людмила присела на сосновое бревно, солнце еще чуточку скатилось к западу, река густела в сиреновом цвете, желтая полоска растворялась, но никаких существенных перемен в мире, оказывается, не произошло. По-прежнему было до одурения жарко, воздух звенел и дрожал, белые чайки в небе висели неподвижно; Людмила Гасилова сидела в прежней позе, сам капитан Прохоров тоже, оказывается, не очень переменялся. Настроение у него было достаточно хорошее, с самим собой он боролся успешно, за какие-то паршивые полчаса узнал от Людмилы в два раза больше, чем предполагал узнать, и перспективы на ближайшее будущее открывались блестящие.

– Людмила Петровна, – мягко сказал Прохоров, – четвертого марта Столетов был у вас дома и, кажется, крупно разговаривал с Петром Петровичем... Разговор длился примерно минут сорок, вы присутствовали при начале, а потом, наверное, подслушивали из соседней комнаты... Что тогда произошло? О чем шла речь?

Он терпеливо и добродушно, как кошка перед мышиной норой, наблюдал за Людмилой Гасиловой. Она подняла голову, прищурившись, опять покусывала зубами нижнюю губу. Сначала было трудно понять, что чувствует девушка, затем Прохоров заметил, как сползла со щек легкая пленка грусти, зрачки прояснились.

– Я все расскажу! – ответила Людмила. – Верьте мне, Александр Матвеевич, я ничего не утаиваю! Серьезно.

Снова появилось в глазах выражение безмятежного жизнелюбия, естественности существования.

Прохоров неожиданно засмеялся.

– Я напрашиваюсь к вам в гости, Людмила Петровна! – заявил он. – Ваша мама уехала с домработницей за малиной, Петр Петрович катается. Вот вы мне и расскажете о происшествии на месте действия. Я не очень нахален, а, Людмила Петровна? Впрочем, мы все такие. Вс-е-е мы такие, милицейские крючки... «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать», – говорили не то греки, не то римляне, не то мой армянский друг Ваню...

Он уже вставал с бревна, уже затягивал узел галстука, уже чувствовал вдохновение:

– А вот Петр Петрович меня в гости не приглашает... Приходите в контору, говорит. У нас в конторе, говорит, спокойно, начальник лесопункта Сухов занят своим изобретательством. Не помешает он нам, говорит...

Говоря все это, капитан Прохоров уже энергично шел впереди Людмилы Гасиловой, чувствовал такую жажду и способность к работе, что кружилась голова и сладко посасывало под ложечкой.

Он первым поднялся на верхотинку яра, не понимая, для чего делает это, внимательнейшим образом посмотрел на свои запылившиеся туфли, затем повернулся лицом к реке и две-три секунды стоял неподвижно, задавая себе такие вопросы, на которые никогда не сможет ответить...

Что с ним произошло за эти короткие сорок минут? Почему именно разговор с Людмилой Гасиловой вернул ему рабочую форму? «Я все-таки похож на служебную овчарку, когда она берет след!» – насмешливо подумал Прохоров.

Он действительно чувствовал, как широко и радостно раздуваются ноздри, как он весь переполняется ощущением нужности бытия, здоровьем и силой, энергией и проницательностью. Он глядел на реку – нужная, славная, очень солидная река; заглянул в провал яра под ногами – необходимый, замечательный провал; поинтересовался Людмилой Гасиловой – целесообразная, цельная и улаженная...

Ну, слава богу, слава богу!

11

«Ну, слава богу, слава богу».

Стараясь не расплескать ощущение радости, энергии, здоровья и силы, капитан Прохоров размашисто шагал впереди девушки; небольшой и худенький, делал крупные движения руками; преображенный, обнаруживал в деревенском неизменившемся мире новые качества, состояния, приметы. По-прежнему стоял жестокий зной – это был совсем другой зной; лежала в пыли знакомая пестрая свинья – это была новая свинья; на заборе сидел петух, молчал с опущенным от зноя гребнем – это был очень хитрый петух, так как догадался забраться повыше, где продувало ветерком с реки; они приближались к дому Гасиловых – это был не тот дом, мимо которого он проходил уже несколько раз. И капитан Прохоров уже был другим капитаном Прохоровым, так как вчерашний Прохоров только подозревать мог, что скрывает высокий забор вокруг гасиловского особняка, а вот теперь без всякого удивления поглядывал на то, что предполагал увидеть...

На гектаре земли располагались огромный дом с просторным мезонином, финского вида остроконечный флигель, кирпичная баня, каменный гараж, парники, покрытые полиэтиленовой пленкой; зеленели дисциплинированные рядки карликовых фруктовых деревьев – сибирского сорта, за ними шли грядки со всякой всячиной, среди них кружевная, деревянной резьбы беседка.

Дом хороший! И флигель хороший!

Над двухметровым бетонным фундаментом дома жирно блестели отборные кедровые бревна, шесть окон глядели с высоты фундамента, четыре окна – с высоты мезонина. Стены особняка ласково обнимали вьющиеся цветы, клумбы с еще более яркими цветами степенно шли вдоль песчаной дорожки, цветы свешивались из горшочков, подвешенных то к стене дома, то к стойкам резного крыльца, то просто к шестам, вбитым в землю. Флигель вонзался в небо готическим собором, воздушный, как бы неохотно стоял на своем зыбком, но тоже бетонном фундаменте; только два узких длинных окна прорезали стены флигеля, но окна были из цветного мозаичного стекла.

Что еще? Бетонный бассейн, устроенный в том месте двора, куда выходили окна, дверь и крыльцо флигеля. К бассейну вела деревянная ступенчатая дорожка – этак плавненько, покато спускалась она в зеленую воду бассейна... Прислушавшись, Прохоров уловил звон струи, шелест мотора, который вращал насос.

– Артезианская скважина? – деловито спросил Прохоров.

– Угу.

Они поднялись по кедровым ступенькам крыльца, ноги еще в прихожей утонули в ковре. Отсюда дверь вела в холл, освещенный двумя окнами, из холла три двери вели в другие комнаты, слева витками поднималась лестница, покрытая красным ковром. На стенах холла висели олени рога, на эстампах – целых три! – гарцевали разноцветные веселые кони.

– Сюда, пожалуйста! – пригласила Людмила.

Девушка не замечала барской роскоши холла, не понимала, в каком доме живет. Ноги в резиновых «вьетнамках», испачканных прибрежным песком, с простотой неведения попирали дорогой ковер, глаза, не видя, скучно пробежали по стенам, отделанным березой, по хрустальным подвескам, не останавливались на паркетном полу, собранном из всех существующих сортов сибирских деревьев. А ведь в холле все было такое, что казалось невозможным в Сосновке. Кто собирал паркет? Где куплены бра? Откуда привезены ковры?

– Пойдемте в кабинет папы!

Девушка пошла вверх по витой лестнице, а Прохоров на секунду остановился, чтобы представить, как поднимался по этой же лестнице Столетов... Он увидел его коротконосое

лицо, вертикальную складку на лбу. Что делал Женька, когда поднимался по винтовой лестнице? Усмехался, зло молчал или трещал без умолку?

– Вот здесь кабинет отца.

Они стояли в широком – с фонарем на потолке – коридоре, обшитом такими линкрустовыми листами, которыми обшиваются каюты на пароходах и купе вагонов: на линкрусте блестели выпуклые розовые цветы и снова висел эстамп с лошадьми – на этот раз зелеными и черными, но очень веселыми.

– Папа любит лошадей, – тихо проговорила Людмила и задумчиво добавила: – Разговор папы с Женей происходил здесь. – Она показала на дверь кабинета. – Потом, когда папа попросил меня выйти, я стояла вот здесь...

Усмехнувшись уголками губ – вылитая Мона Лиза! – девушка открыла дверь в отцовский кабинет, жестом пригласив Прохорова входить, сказала:

– Папа иногда спит в кабинете... Вот на этом диване.

В кабинете мог спать не только Петр Петрович Гасилов, там можно было разместить отделение солдат, поставив каждому кровать да еще и оставив место для небольшой скорострельной пушки. Пушка охотно бы гляделась в окно, если можно было назвать окном стеклянную стену, – виделась расплавленная снизившимся солнцем стремнина Оби, тоненькая полоска леса за рекой... Пол кабинета покрывал светлый ковер, в центре его, раззявив пасть, лежала медвежья шкура, а стены были просто-напросто затянуты серым атласом. Мебели было мало – средней величины стол, старинные часы с боем, кожаный диван, четыре шкафа с книгами, три глубоких кожаных кресла...

– Ну что же, – оживился Прохоров, – теперь самое время, Людмила Петровна, послушать о том, что произошло четвертого марта текущего года.

Капитан Прохоров сразу заметил, как устраивается на кожаном диване Людмила Гасилова – девушка делала это точно так, как устраивался на стуле технорук Юрий Петухов. Она положила руки на колени, но убрала – неудобно, попробовала опустить одну руку на валик дивана – опять плохо, приставила вторую руку к бедру – еще хуже! Несколько пробующих движений сделала Людмила, зато устроилась хорошо.

– Женя и папа давно ссорились, – сказала Людмила. – Но мне было трудно понять, почему они ссорились...

Она замолчала, подумав, продолжила:

– Странно! Они ругались, но, когда Женя уходил, папа говорил: «Настоящий парень! Вот если бы...» Серьезно!

Левый конь на эстампе, стреноженный, стоял смирно, устало, зубы торчали в разные стороны, улыбка у коня была трудной; это был очень старый конь, хотя художник сделал его красивым, гриву – зеленой.

– Я как-то спросила Женю, о чем они разговаривали с папой. Он засмеялся: «Кто не работает, тот не ест...» Серьезно. Я не умею рассказывать, Александр Матвеевич! Все время отвлекаюсь, теряю мысль, путаюсь. Серьезно. В школе вот тоже так было. Урок знаю, а отвечаю долго, учитель сердится: «Не тяни, Гасилова!...»

– Продолжайте!

– Продолжаю... Четвертого марта они тоже поссорились... То есть не поссорились, а... Один Женя поссорился, а папа, как всегда, помалкивал... Вы знаете, Александр Матвеевич, с папой очень трудно поссориться! Серьезно... Папа, когда рассердится, уходит к своей подзорной трубе...

– Какая еще труба?

– Подзорная... Скорее всего небольшой телескоп... Папа купил его на толкучке сразу после войны...

– Где же установлен телескоп?

– Во флигеле... Мне дальше рассказывать?

А для чего? В этом кабинете не хотелось слушать, рассказывать, думать, совершать поступки; здесь вещи были предупредительны, послушны, отлично вышколены; отсюда не хотелось идти даже во флигель, где стоял хоть и маленький, но все-таки телескоп. Кресло приняло тело бережно, бесшумные пружины расположились так, что капитан уголовного розыска словно бы повис в пустоте, словно бы потерялся среди кожи, принявшей форму его тела. Хотелось закрыть глаза, поплыть вместе с креслом в сквозное окошко, повиснуть над расплавленной рекой, пусть ветерок щекочет лицо, внизу шелестит вода, наплывает на горизонт закат...

– Рассказывайте, рассказывайте...

Людмила начала неторопливо:

– Женя пришел к нам довольно поздно, часов в десять вечера...

За семьдесят восемь дней до происшествия

...март начинался холодами, пронзительными ветрами, хрусткими льдинками повсюду: на крышах, заборах, телеграфных столбах, на кромке обского яра. В девятом часу вечера улица звенела под ногами, как битое стекло, на Оби торосились редкие льдины, до голубого сияния продутые ветром, собаки лаяли остервенело, точно подошли к околице голодные волки.

Женька Столетов бежал по пустынной улице, проклиная себя за пижонство, чувствовал, как в туфлях холодеют пальцы. Его высокая фигура была одинокой на улице, луны не было, фонарь на клубе светил тускло, как бы захлебнувшись ветром. У ворот гашиловского дома Женька остановился: надо было перевести дыхание, успокоиться, чтобы войти в дом вальяжно, с небрежной улыбкой на губах...

Двери отворила Лидия Михайловна. Узнав гостя, вежливо кивнула, смотрела на Женьку так спокойно, словно ничего не случилось, не было опустошающих телефонных звонков, когда Лидия Михайловна отвечала, что Людмилы нет дома, а издали слышался знакомый голос: «Кто это звонит, мама?»

– Так проходите, проходите, Евгений! – поднимая брови, сказала Лидия Михайловна. – Мы вас не ждали, но... мы вам рады...

Она была одета в пунцовый нейлоновый халат, волосы крупными локонами лежали на маленькой голове, серые глаза были холодны от блеска. Женька поежился. Как случилось, что на это холеное, полное до тошноты лицо попали глаза Людмилы? Отчего возле единственных в мире глаз лежали тоненькие морщины, откуда локоны, яркие губы, пунцовый халат? И почему так спокойно, безмятежно и приветливо лицо этой женщины? Разве не она диктовала дочери: «Мы взрослые люди, Женя. Нам надо расстаться!»?

– Я хотел бы поговорить с Петром Петровичем, – тихо сказал Женька.

Женщина в пунцовом халате усмехнулась уголками губ – это была Людмила улыбка, спокойно поправила парикмахерский локон на виске. Значительная, безмятежная, по-женски мудрая. Женька почувствовал, как утишается нетерпение, остывает желание ворваться в кабинет Петра Петровича со стиснутыми кулаками, улетучиваются горячие слова, приготовленные для начала разговора.

– Я хочу подняться к Петру Петровичу, – сказал Женька. – Передайте ему, что я пришел.

Открылась дверь, зевая и сонно потягиваясь, в холл вышла Людмила, сразу же прислонилась спиной к стене. На ней был точно такой же нейлоновый халат, как и на матери, на волосах косынка, под ней – бигуди.

– А, это Женя, – сонно сказала Людмила. – Я думаю, кто это разговаривает? А это Женя! Здравствуй! Почему не заходил? Нет, серьезно?

Он по-прежнему тупо смотрел на дочь и мать, ничего не понимая, ощущал необычное смещение времени, так как происходящее не могло датироваться началом марта. Разве не в

конце февраля Людмила приревновала его к Анне Лукьяненко, не отвечала на письма, не приходила в клуб? Что сейчас на дворе? Февраль, январь?..

– Евгению не до нас! – с улыбкой сказала Лидия Михайловна. – Он пришел с визитом к Петру Петровичу. Как государственный человек к государственному человеку. Да простит их Господь обоим!.. Говорить о делах в девять часов вечера, после ужина, перед сном! Сыграли бы лучше в подкидного дурака...

Людмила засмеялась.

– Женю не остановишь, – ласково сказала она. – Он не поддается уговорам. Папуля тоже любит пофилософствовать. Серьезно!..

Как уютно, тихо, тепло было в холле, устланном толстым ковром, как ласково щурилось лицо Людмилы, как спокойно светили нейлоновые халаты, как славно шутила Лидия Михайловна... Женьке захотелось тоже привалиться спиной к стене, надеть халат, сыграть в подкидного дурака. Затуманивались лица друзей, приглушался веселый шум сегодняшнего комсомольского бюро, хохот парней, придумавших забавный способ борьбы с Гасиловым... Женька протяжно ухмыльнулся, поежившись, тупо повторил:

– Я хочу подняться к Петру Петровичу.

– Я провожу тебя, – после паузы ответила Людмила.

– Проводи, проводи! – разрешила Лидия Михайловна. – Папа будет рад.

Они поднялись по винтовой лестнице, остановились в коридоре. Людмила опять прислонилась к стенке – такая красивая, что глядеть на нее не хватало сил. Она исподлобья смотрела на него, перебирала кружевную бахрому халата тоненькими пальцами; губы были раскрыты.

– Женя! – ласково сказала Людмила. – Ну почему ты ссоришься с папой?.. Не надо, Женя! Папа хорошо к тебе относится...

Женька проснулся сегодня рано – в шесть часов, открыл глаза, услышал, как воет за окном холодный мартовский ветер, как звенят льдинки над ставнями: дом подрагивал, словно двигался в темноту и безвременье. Женька по-детски подтянул колени к груди, спрятал голову под одеяло, притаился: было так же жутко, как бывало в детстве, когда были зимние метели, а за околицей первобытно, обреченно лаяли собаки, напуганные зелеными глазами голодных волков. Он долго лежал в страхе, потом перед глазами вдруг вспыхнуло: «Людмила!» Он счастливо рассмеялся: «Людмила!» Женька сбросил одеяло, прыгнул на холодный пол: «Людмила!» И остановился, словно наткнулся на острое, режущее.

...Людмила стояла на втором этаже отцовского особняка, привалившись спиной к стене, глядела на него ласково, просительно.

– Не надо ссориться с папой, Женя! – повторила она. – Чего вам с ним делить?..

В коридоре второго этажа совсем не слышался свист ветра, было тихо, как в таежной глубинке, тисненый линкруст пощелкивал от прикосновения легкой спины девушки, и было видно, как у подножия винтовой лестницы тихонько пошевеливается клочок пунцового халата. Лидия Михайловна подслушивала их разговор, было нетрудно представить выражение ее лица, когда она думала, что Женька не знает о подслушивании, – холодное, надменное, такое опасное, словно внутри женщины поставили на боевой взвод тугую пружину курка.

– Пошли к отцу! – с улыбкой сказал Женька. – Доложи ему о моем визите.

Людмила постучала в двери.

– Папа! К тебе пришел Женя.

Гасилов расхаживал по кабинету – руки заложены за спину, большая голова наклонена, седые волосы по-домашнему освобожденно рассыпались. Здесь, в родном доме, у мастера не было даже намека на созидательное выражение лица и фигуры, а, наоборот, все было теплым, ласковым, уютным. На лбу разгладились глубокие боксерьи морщины, в глазах – ласковый покой, спина сутулилась по-стариковски, и нельзя было понять, счастлив он или несчастлив,

доволен жизнью или недоволен. Просто расхаживал по кабинету, переваривал ужин, думал о пустяковой всячине.

– Садитесь, молодые люди! – благодушно-насмешливо сказал Петр Петрович. – Холода-то, а? Зимние!

На нем был толстый, простеганный белыми нитками халат с длинными кистями, на ногах – мягкие восточные туфли, на голове – вышитая тюбетейка. Иронически прищуриваясь, Петр Петрович в последний раз прошелся из угла в угол, остановившись, внимательно посмотрел на Женьку.

– Если я правильно понял выражение твоего лица, Женя, то Людмилу надо выставить за дверь! – мирно сказал он. – Людка, готовься!

Выражение лица! А Женька-то думал, что он стоит перед Гасиловым браво-спокойный, вальяжный, благодушный, этакий величественный. Значит, опять на его лице все написано: нетерпение, вызов, желание немедленно развязать ссору. И это теперь, когда надо разговаривать с Гасиловым вот так – вольготно сидеть на кожаном диване, прищуриваясь, держать на губах добродушно-снисходительную улыбку, рассеянно прислушиваться к утихающему ветру.

– Людмила, выйди! – шутливо вздохнув, попросил Петр Петрович. – Женя собирается устроить бой быков...

– Хорошо, папа! Ты зайдешь ко мне, Женя?

Не получив ответа, Людмила вышла, задев за косяк двери сонным боком.

В кабинете горела только настольная лампа под зеленым абажуром, свет ее был укромен, вся эта комната, обтянутая блестящим атласом, застланная ковром, казалась доброй, уютной, спасительной. Женька проглотил слюну, но голос у него все равно оказался хриплым.

– Выражение моего лица не имеет никакого отношения к разговору, – вызывающе сказал он, хотя собирался произнести эту фразу спокойно. – Вы целый день избегали встречи со мной, поэтому я пришел на дом... Я обязан сообщить вам о решении комсомольского бюро.

Гасилов опустил в глубокое кресло.

– Я вовсе не избегал тебя, Женя! – мягко сказал он. – Днем у меня не выкраивалось свободной минутки...

Женька шумно выдохнул воздух, хотел еще что-то сказать, но поперхнулся. Ложь Гасилова была такой чудовищной, что была даже не ложью, а откровенным глумлением, словно мастер сказал: «Солнце светит ночью!»

– Ложь! – еще раз передохнув, быстро сказал Женька. – Этого не может быть, так как вы в течение шестнадцати часов в сутки ничего не делаете... Восемь часов я отвел на сон...

Торопясь и поэтому путаясь ногами в толстом ковре, он стремительно приблизился ко второму кожаному креслу, брякнувшись в него, снисходительно – так ему казалось – улыбнулся:

– Вы не только ничего не делаете, Петр Петрович, но и мешаете работать другим... Мы три дня назад перешли в новую лесосеку. Почему до сих пор не повышена норма выработки? Ведь в новой лесосеке более крупный древостой... Только не говорите, что забыли, закутились, заработались! Не поверю!

Женька опять ошибся, так как Петр Петрович даже и не собирался говорить: «Ой, Женя, как же я так? Мы ведь в самом деле перешли в новую лесосеку, а я... Ах ты, черт возьми!» Нет, Петр Петрович не говорил этого! Он сидел в кресле по-прежнему мирно, спокойно, улыбаясь: глядел Женьке прямо в глаза, ждал терпеливо, что еще скажет секретарь комсомольской организации.

– Я слушаю, Женя.

Глумление продолжалось, Женька выпрямился, теряя слова и мысли, проговорил:

– Комсомольцы поручили мне сообщить вам о том, что с завтрашнего утра мы объявляем открытую войну Гасилову...

И снова ошибся: лицо мастера не изменилось. Мало того, Петр Петрович мечтательно повернулся к лошадиному эстампу, халат немного распахнулся, и Женька увидел волосатые ноги. Продолжая молчать, Петр Петрович положил подбородок на ладонь, задумчиво, длинно глядел на синюю лошадь, которая безмятежно паслась на зеленом лугу.

– Мы требуем, – монотонно проговорил Женька, – чтобы вы отказались от синекуры, чтобы ушли в бригады или вообще расстались с лесопунктом... Ваши должностные преступления разлагающе влияют на рабочих и сдерживают выработку...

Молчание. Мирные глаза. Задумчивая улыбка.

– Мы, комсомольцы, собираемся на деле осуществить принцип: «Кто не работает, тот не ест!»

Женька тоже улыбнулся, но криво, неловко, смятенно.

– Вы не хотите спросить меня, Петр Петрович, как мы собираемся бороться с вами?

Ветер за окном неистовствовал, очертя голову бросался на двойные, по-зимнему, рамы гасиловских окон, отсчитывали глухие секунды часы в деревянном большом футляре, синяя лошадь на эстампе улыбалась.

– У тебя все, Женя? – тихо спросил Петр Петрович. – Шли бы гулять с Людмилой... Эй, дочка!

Через три-четыре секунды в кабинет вошла Людмила, выслушала предложение отца, прислонилась спиной к дверному косяку.

– Не хочется гулять! – задумчиво сказала она. – Одеваться, раздеваться, натягивать сапожки... Ну его, это гулянье! Давай, Женька, лучше поиграем в подкидного дурака. Ты, я, мама, папа... Серьезно! Папка, давай играть в подкидного дурака. – Она надула губы. – Только с тобой, папка, трудно играть: ты всегда знаешь карты!

Зеленая лампа, красивые халаты, тишина, холод за окнами, добрые лица, тихий домашний разговор... Лидия Михайловна поставит самовар, домработница принесет на деревянном подносе вкусные печенюшки, Петр Петрович, озабоченно почесав ухо, вынет из шкафа неполную бутылку коньяка: «Мы по рюмочке, по рюмочке, Лидуша!» Хозяйка дома будет держать карты на отлете, путать бубнового короля с червонным, Людмила станет хохотать над Женькой, который играет плохо, Петр Петрович начнет прищуриваться, убивая чужие карты, приговаривать: «У нас королей нету! Мы супротив королей! У нас, граждане, демократия!»

Всего три месяца назад Женька охотно игрывал в подкидного дурака в семействе Гасиловых, злился, когда проигрывал, тщеславно завидовал Петру Петровичу, который на самом деле помнил вышедшие из игры карты, а вернувшись домой, ворчал при матери и деде: «У нас дома все не как у людей! Нет в карты поиграть, так соберутся и давай долдонить: “В Европе то, в Ираке это, в больнице то, в больнице это...” Ну и нудный вы народ, Столетовы! Скучно с вами, зевать охота...»

Сегодня Женька развалился в кресле – нога на ногу, тупой нос поднят, брови задрались, как запятые.

– Играем, играем в подкидного дурака? – обрадовалась Людмила. – Папка, Женя согласен играть! Давайте, ну, давайте!

– Можно и в подкидного дурака, – сказал Женька.

Он уже чувствовал себя круглым дураком: прийти к Гасилову для объявления войны, вместо спокойствия и дипломатической вальяжности суетиться и волноваться, краснеть и бледнеть, а потом сесть играть в карты. А главное – ничего не добиться, не обосновать обвинения...

– Давайте играть в дурака! – мрачно пробасил Женька. – Давайте!

Людмила отклеила спину от дверного косяка, посмотрела на Женьку исподлобья, тоже басом протянула:

– Такой смешно-о-й, такой хоро-ши-ий! Та-а-ко-ой сла-а-вный Женя.

...Солнце еще на вершок приспустилось к западу, по реке бежали наперегонки серые тени, зубчатая кромка кедрового заречья становилась синей, как бывает всегда, когда на тайгу падают розовые отблески заката. В кабинете Гасилова было тоже по-вечернему ало, обтянутые атласом стены казались седыми.

Закончив свой спокойный рассказ, Людмила воровато поглядела на дверь, затем решительно вынула из кармана пляжного платья пачку сигарет «Столичные». Прикурила она умело, кончик сигареты закусила лихо, мизинец изысканно оттопырила.

– Я волнуюсь? – медленно спросила она. – Нет, серьезно!

– Что вы! – удивился Прохоров. – Ваше лицо дышит неизменным покоем! Серьезно.

Он сосредоточенно определился во времени и пространстве, как делал всегда, когда запутывался. Поглядел на часы – девятый, помотал ногой – на туфле оставался след обского песка, кивнул разноцветным лошадям – мастер лесозаготовок Гасилов существовал где-то рядом; на кожаном диване сидит его единственная дочь, в кресле по-барски развалился капитан уголовного розыска и слушает, как дочь понемножечку да полегонечку предаёт папашу, ковыряется в его ранах, срывает бинты да еще и заботится о том, чтобы не потерять вальяжности. Рассказала о телескопе, не упустила ни одного столетовского слова, безмятежным голосом сообщила о том, что мать подслушивала ее разговор с Женей, а она, Людмила, стояла в коридоре до тех пор, пока Петр Петрович не позвал: «Дочка!..»

– Вы удивительная! – сказал Прохоров девушке. – Что же было дальше?

– Я пошла провожать Женю, – сказала Людмила. – Он, конечно, проигрался в пух и прах, был очень сердитый, грустный... Серьезно! И не хотел, чтобы я его провожала... Потом он сказал, что будет бороться с гасиловщиной...

Прохоров хмыкнул:

– С гасиловщиной? Столетов так и сказал?

– Да, Александр Матвеевич! Он часто употреблял это слово. Серьезно.

Бог ты мой! Прохоров опять не верил своим собственным ушам, отказывался доверять глазам – сидит на диване, спокойно и красиво курит, лицо ласковое, нежное, улыбка, и тут же: «Гасиловщина, подкидной дурак, провожание...» Прохоров поерзал в кресле, потом принял решение по-петуховски устроиться в жизни – положил щиколотку левой ноги на колено правой, руки скрестил на груди, а с лицом поступил так – расправил все морщины...

Хотелось играть в подкидного дурака, пить чай из самовара, провожать красивых и нежных девушек. Капитан Прохоров сосчитал бы все вышедшие из игры карты, не отбивался бы крупными козырями, хранил бы до конца игры боевые шестерки, чтобы дать радостной душеньке полный разворот: «У нас, товарищ Гасилов, королей тоже не держат! У нас, Петр Петрович, демократия! У нас, понимаете ли, тузы!»

– Женя и на комсомольском собрании употреблял термин «гасиловщина»? – спросил Прохоров.

– Не знаю... Я не комсомолка.

«Серьезно», – добавил за девушку Прохоров. «Нет, серьезно!» Подниматься с дивана, переодеваться, натягивать тесные сапожки, класть в карман комсомольский билет, идти на собрание. Ах, какие пустяки!..

– Людмила Петровна, – безмятежно ляпнул Прохоров, – почему вы отложили до осени свадьбу с Петуховым?

Девушка легонько вздрогнула, медленно повернувшись, посмотрела на него широко открытыми глазами.

– Вы знаете об этом? – спросила она. – Откуда? От Юрия Сергеевича? Нет, серьезно! От Петухова?

– Угу!

Она вздохнула, потрогала мизинцем нижнюю губу.

– Я все чего-то ждала, Александр Матвеевич! Я все чего-то ждала...

Зеленый конь на самом крупном эстампе давно устал пастись по зеленому лугу. Он стоял на широко расставленных ногах, задрал морду и раздув ноздри, принюхивался, прислушивался к вечернему тихому миру; ему не хватало движения, бешеной скачки, волчьих глаз за длинной спиной.

– Я все чего-то ждала...

Вся она была правда и только правда, и ничего, кроме правды; первоклашка бы понял, что Людмила не хотела выходить замуж за Петухова, ждала чего-то от Женьки Столетова, на что-то надеялась в тот мартовский вечер, когда обе женщины подслушивали, одна внизу, вторая наверху, а потом играли в подкидного дурака и Петр Петрович тщательно считал вышедшие карты. «Не надо ссориться с папой, Женя! Ну что вы все делите?»

– Людмила Петровна, скажите, пожалуйста, когда Евгений узнал о том, что вы решили выйти замуж за технорука?

Она медленно подняла руку к лицу, как бы загородила от Прохорова глаза.

– Он никогда не узнал об этом! – прошептала Людмила. – Женя так и умер, думая, что мы просто поссорились...

Прохоров поднялся, подошел к столу, взял фотографию в некрашенной кедровой рамочке, дальнотворко отнес ее от лица. На фотографии стоял обычный Гасилов – в ковбойке, в тонких сапогах, с добрым боксерским лицом, а возле него сидела на высоком стуле пяти-шестилетняя Людмила, и он держал руку на ее девчоночьем плече. Губы отца сомкнулись от нежности к дочери, смотрел он мимо Людмилы, видимо, в стену, но так, словно вглядывался в будущее дочери, скрытое этой стеной, словно на мгновение позабыв о том, что его пальцы прикасаются к ее плечу. Думы Гасилова были широки, глобальны – о жизни, о судьбе, о смерти. Дочь прижалась ласковой щекой к его огромной кисти с коротко и аккуратно, как у хирурга, обрезанными ногтями; рука была холеная, чисто промытая, даже на тыльной стороне ладони покрытая густыми темными волосами.

– Я просил вас через Пилипенко приготовить письма и записки Евгения, – сказал Прохоров. – Вы приготовили, Людмила Петровна?

– Да! Я все отдала товарищу Пилипенко.

Он подошел к кожаному креслу, но не сел, так как увидел, что Людмила вернулась в прежнее состояние – сделалась купальщицей с фруктовой сумкой в руках. Сигарета в ее губах дотлевала, щеки приняли обычный нежный цвет, движения были ленивыми, пасущимися, платье далеко обнажало невинную голую ногу.

– Я приглашаю вас отужинать со мной, Людмила Петровна, – весело сказал Прохоров. – Лидия Михайловна с домработницей из-за реки вернутся поздно, Петр Петрович все еще гарцует на жеребце Рогдае... Вы принимаете мое предложение, Людмила Петровна? Угощу ошеломительно-осетриной!

И пошел-поехал:

– Ах, ах, Людмила Петровна, я физиономист, плюс психоаналитик, плюс психопатолог, плюс бух... Как там у Ильфа и Петрова?.. Обедали вы плохо – лень разогревать – пощипали только утренний пирог и сейчас голодны, как капитан Прохоров из уголовного розыска... Орсовская столовая – прелесть, конфетка, заповедник комфорта. А мне палец в рот не клади! Я еще три дня назад из профилактических соображений занес в книгу жалоб сердечную благодарность официанткам, директору, кухонной челяди и сторожу дяде Коле... Теперь меня обслуживают на полусогнутых, а вареная осетрина здесь лучше столичной, спиртные напитки не приносятся и не распиваются – штраф три рубля!.. О, верьте, верьте, Людмила Петровна, завсегдатаю столовых, кафе, закусовых! Мне только сорок с хвостиком! Захотите, мы будем

смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда... Не захотите, буду рассказывать об экзистен-циа-лиз-ме...

Хохоча, посмеиваясь, паясничая, Прохоров за локоток провел Людмилу через коридор, лестницу и еще один коридор на крыльцо, снова взял Людмилу за нежный локоть. Выйдя из ворот, Прохоров по-уличному прокашлялся, взбодрил голову и так огляделся, точно давно не виделся с Сосновкой, точно просидел в гашиловском кабинете три затворнических дня и три затворнические ночи.

В орсовской столовой (в поселке была еще сельповская) на окнах висели марлевые занавески, на квадратных столах лежали голубые клеенки, посередине столовой торчала деревянная арка, похожая на ворота, – для чего, почему, с какой целью поставленная, неизвестно, так как арка ничего не поддерживала, ничего не распирала, ничего не соединяла. Три официантки были толсты, упитанны, благодущны от безделья – спиртные напитки не приносятся и не распиваются, два раза по вечерам приходит участковый Пилипенко; на их лбах, похожие на деревянную арку, торчали кокошники. С потолка столовой свешивались длинные липучие ленты, так густо унавоженные мертвыми мухами, что Прохоров поторопился занять пустой угловой столик: с него липучки были не видны, а, наоборот, можно было наблюдать вечернюю розовую реку по имени Обь.

Озабоченно посоветовавшись с Людмилой, капитан Прохоров заказал окрошку, вареную осетрину, телячий холодец, потом смущенно почесал заскрипевший под пальцами подбородок.

– Жаль, сухого винца нет, Людмила Петровна!

Ему нравилось, как девушка вела себя в орсовской столовой. Она, видимо, никогда не бывала в ней, но по сторонам удивленно не глядела, не заметила ни мух, ни липких клеенок, толстым официанткам кивнула просто и сердечно, никакой специальной ресторанной позы не приняла. Уже было понятно, что Людмила хороша за столом – с ней будет весело, непринужденно, легко оттого, что девушка умеет молчать, не испытывая при этом неловкости.

– Два холодца! – возникая возле стола, сказала самая толстая официантка. – Горчица вон тамочки – у в солонки, а перетц, наоборот, у в горчицнице.

Они посмеялись.

Холодец стоял под носом у девушки, но она почему-то еще не начинала есть, сидела тихо, спокойно, задумчиво. Однако что-то уже менялось в ее лице: оно становилось просветленным, губы раскрылись, открыв частые, белые и ровные зубы, такие, какие поэты сравнивают с жемчугом. Потом Людмила осторожно, коротко, как счастливый ребенок перед сном, вздохнула, взяв вилку и ножик, опять замерла с таким видом, словно не знала, что делать с ними. На свежее, молодое, красивое лицо продолжало наплывать светлое, торжественно-праздничное выражение.

Людмила начала есть. Медленно-медленно подцепила на вилку аккуратный кусок холодца, внимательно осмотрев его со всех сторон, бережно положила в рот. Жевала она неторопливо, с непонятными остановками; сидела при этом прямо, спокойно, с ровными плечами, а выражение лица снова менялось – затуманивалось, становилось сосредоточенным, настороженным, чуточку деловитым; серые материнские глаза внезапно приняли отцовское выражение с той фотографии, где Петр Петрович положил большую руку на хрупкое плечо пятилетней дочери. Она так же глядела в даль дальнюю, видела за рекой будущее, думы ее были крупны, глобальны – о жизни, судьбе, смерти. Но праздник продолжался: безлюдный, одинокий, сам в себе, но праздник.

– А в клубе сегодня кино, – сказал Прохоров. – Называется «Анжелика и король». Играет о-о-чень красивая актриса. Seriously!

Улыбнувшись, Людмила съела очередной кусок холодца, задумчиво начала облюбовывать следующий, и Прохоров понял, что ни пиршеством, ни вкушением, ни торжеством плоти нельзя было назвать тот особый интимный процесс, в который Людмила Гашилова превратила

обыкновенный обед; для обозначения этого процесса не подходило ни одно из распространенных определений, так как еда и девушка составляли одно целое, и это было так естественно, как растет дерево, летают над Обью птицы, пасется на лугу добродушно-ленивая корова, лакает молоко кошка. И всякий, кто смотрел, как ест Людмила Гасилова, непременно думал о том, что она живет так же, как ест, – неторопливо, маленькими кусочками, облюбовывая, пробуя на вкус, тщательно прожевывая, берет прелести плотского существования по секундочке, по минуточке, по всякому оттеночку радости... Корова!

В матовой окрошке плавал целомудренный лук, мелко нарезанные огурцы пахли летом, кусочки мяса высывались зубчиками горной цепи, ровные квадратики картошки затаенно светились. Все это кричало: «Съешь меня!» – и Прохоров грустно потупился, и опустил в тарелку ложку, и ничего не мог поделать с собой: все думал о Женьке Столетове, который страдал, когда видел, как ест любимая девушка, и который никогда уже не почувствует, как пахнут огурцы, не увидит, какое это чудо – мелко нарезанная картошка! «Я нетерпелив, я очень нетерпелив!» – подумал Прохоров. – Мне хочется иметь ружье, которое не только стреляет, но и поджаривает дичь!»

– Что произошло с Женькой? – спросил Прохоров. – Вы знаете его с детства. Что произошло? Его столкнули или он сам сорвался?

Людмила застыла с вилкой в руке. Потом тихо сказала:

– Папа уверен, что Заварзин не мог... Он не толкал Женю... Я не знаю, почему папа так уверен в этом...

Прохоров тоже, оказывается, не мог видеть, как ест Людмила Гасилова. Поэтому он повернулся к окну и заметил сразу, что на обском яру произошло какое-то изменение, что-то появилось новое...

Ровно в девять пятнадцать возвращался с прогулки на жеребце Рогдае мастер Петр Петрович Гасилов. Поднимаясь по дороге, он бросил на гриву Рогдая поводья, сидел лениво и прямо, монотонно покачивался, но на лице еще виднелись остатки бешеной скачки – ветер в прищуренные глаза, храп, топот, сверканье скошенных на ездока лошадиных лиловых белков, разбойный запах лошадиного пота.

Рогдай шел устало, опустив длинную шею, бережно переставляя тонкие породистые ноги. Коня слева освещало закатное солнце, и Прохоров глупо открыл рот: жеребец был красным.

На красной лошади ехал мастер Петр Петрович Гасилов.

Глава вторая

1

Как волка, боящегося красного цвета, обкладывал капитан Прохоров тракториста Аркадия Заварзина. Два страшных красных флажка вбил в пустоту грузовых поездов, идущих один за одним с интервалом в сорок пять минут, третий флажок поставил на извилистой тропинке, по которой любила бродить сосновская молодежь, четвертый прилаживал в том месте, где тропинка пересекалась с проселочной дорогой, по которой ежевечерне гулял слепой учитель Викентий Алексеевич. Последний флажок капитан Прохоров собирался поставить на продутой ветрами железнодорожной платформе.

Войдя в рабочую форму после встречи с Людмилой Гасиловой, капитан Прохоров спал по шесть часов в сутки, вечерами засыпал мгновенно, без снотворного, утрами пробуждался с песней: «Заиграли, загудели провода... Мы такого не видали никогда». По Сосновке ходил стремительный, ясноглазый, ловкий, хотя костюм по-прежнему мешковато сидел на нем; лицо загорело, голос от ветра и солнца сделался хрипловатым, губы плотно сжаты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.